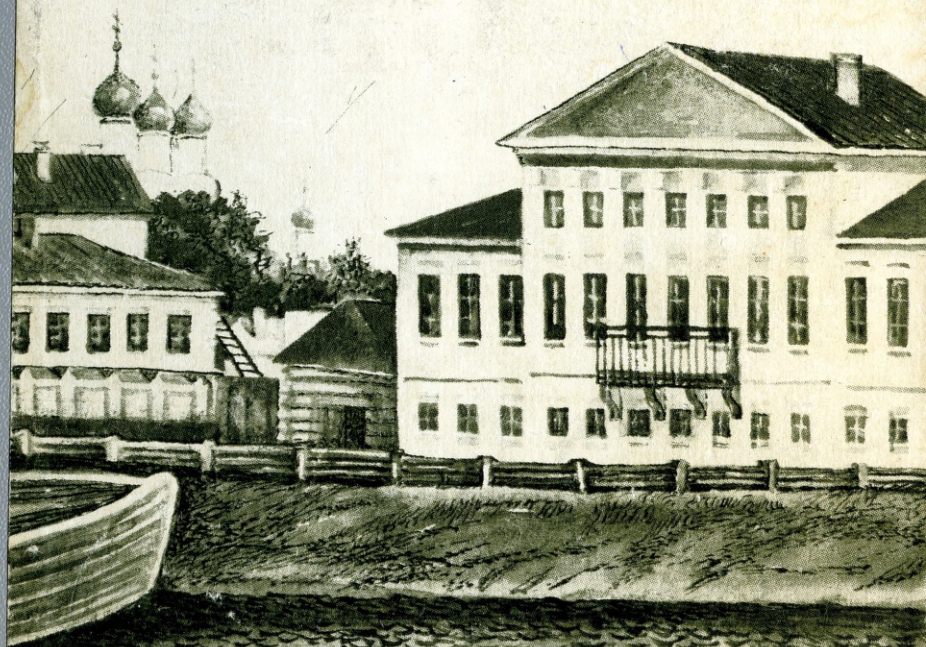


В. Кошелев
ВОЛОГОДСКИЕ
ДАВНОСТИ



В. Кошелев. ВОЛОГОДСКИЕ ДАВНОСТИ



Пушкинский кабинет ИРЛИ

В. Кошелев

**ВОЛОГОДСКИЕ
ДАВНОСТИ**

*Литературно-
краеведческие
очерки*

Архангельск

Северо-Западное книжное издательство

1985

83.3p1 (2p31)
К76

Кошелев В. А.

К76 Вологодские давности: Лит.-краевед. очерки. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1985. — 223 с.

Книгу составили литературно-краеведческие очерки о литературной жизни Вологды конца XVIII — начала XIX века, о жизни и творческой деятельности К. Батюшкова, П. Вяземского, Н. Надеждина и других русских писателей.

К $\frac{4603010102}{M157(03)-85}$ 20—85

© Северо-Западное книжное издательство, 1985 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ДАВНОСТЬ, ж. — свойство давнего, долговременность или старина, дедовщина, ветхость, *давнина, давника. Это давнина стародавняя. По давности я дела этого не припомню. От давности вещь пришла в негодность. Давность не малый свидетель...*

Вл. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.

Иллюстрации, приведенные Владимиром Далем к слову «давность», указывают на основные мотивы этой книги.

«*Это давнина стародавняя*». «Давность» тоже может быть разной. Одно дело — летописный рассказ о том, как «Синеус сел на Белозере», и совсем другое — дела и события, происходившие 150—170 лет назад, в ту эпоху, которую мы характеризуем как «пушкинская» или как «декабристская». Это «давность» не так уж далека от нас, как может показаться, когда мы в Русском музее рассматриваем старые портреты. Не такие уж они «старые». Известный критик и ученый В. В. Стасов (1824—1906) в молодости был знаком с И. А. Крыловым, а в старости — с С. Я. Маршаком. Крылов воспринимается нами как «выходец» из XVIII столетия. А Маршак — классик советской детской литературы.

Люди «пушкинской» эпохи жили за 6—7 поколений до нас и были нашими прапрапрадедами. С точки зрения «хронологической» истории полтора столетия — всего лишь маленький отрезок на миллионном пути человечества.

Вот маленькая картинка жизни «среднего» вологжанина конца XVIII столетия. Она взята из воспоминаний забытого ныне писателя Николая Степановича Ильинского (1759—1846). Ильинский вспоминает родной дом, стоявший когда-то в центре Вологды:

«Дом родительницы... ничто иное был, как хорошая крестьянская изба. На большую улицу были два слуховые окошка, а третье на двор. Печь большая, и от нее полати, или настилка сверху до половины избы, где можно было спать и сидеть во время морозов; вниз от печи был сход, или так называемый голбец, по которому сходили в нижние кладовые, где хранились все съестные и разные домашние вещи. Назади, на двор была светлая горница с двумя окнами и стеклянными переплетами... Между переднею избою и сею горницею были сени довольно пространства, и в них чуланы, в кои ставили сундуки с платьем, посуду и прочее, что было получше. Посуда, сколько помню, все деревянная и несколько оловянной. Тут же хранились церковные книги, оставшиеся после деда. Из сеней был выход на крыльцо, довольно высокое; на дворе стояли два сарая и коровник; огород был небольшой и низкий; в нем садили капусту, огурцы, морковь, редьку, бобы...»¹

Из жизни современных вологжан как-то незаметно ушли такие понятия, как полати, голбец, горница, оловянная посуда... Нам уже трудно вообразить жизнь «среднего» вологжанина первой трети

¹ Ильинский Н. С. Воспоминания моей жизни. — Русский архив, 1879, ч. III, № 12, с. 343.

XIX столетия — особенно в ее маленьких, бытовых деталях. Попробуйте представить себе огромный по тем временам город на берегу «быстростоячей» речки, деревянные домики за высокими заборами, немощные улицы, перезвоны колоколен пятидесяти двух церквей...

Почта приходит дважды в неделю: по средам и пятницам. До Москвы четверо суток пути «на перекладных» (четверо — если повезет и не будут долго задерживать на почтовых станциях).

В «Вологодских губернских ведомостях», единственной местной газете, которая выходит раз в неделю, подписчик может ознакомиться со следующим объявлением: «На второй неделе великого поста у диакона Богоявленского бежал дворовый человек Маврин Иван. Росту высокого, волосы рыжие, у левого ока родимое пятно. Знающих о нахождении сего беглого просят...» и прочее...

Театра в Вологде нет. Изредка наезжающие столичные труппы могут предложить лицемерию избранной публики мелодраму «Тереза, женевская сирота» или водевиль «Не влюбляйся без памяти».

Нет в Вологде и библиотеки. Книжная лавка невелика и особой популярностью не пользуется. Знатные предпочитают выписывать книги из столиц, а простому человеку не до книг: дороги...

В городской гимназии ученики долбят греческий язык и латынь. А потом становятся подьячими в канцеляриях и в короткое время забывают все многотрудные склонения...

Закон Божий не забывают: за оным следят строго! В воскресенье с утра пожалуй-ка в церковь. И за стол без молитвы не сядешь. А чуть только оступиться — городская молва сразу же разнесет весть о новоявленном «безбожнике»...

Никакие газеты не заменят молвы и сплетни, формирующей общественное мнение и несущее основную информацию о мире. Как не вспомнить знаменитую Феклушу из драмы Островского «Гроза»!

Без великой нужды никто из Вологды не уезжает и никто не приезжает: далеко ехать! Жители все «примелькались», и к новым, не «своим», относятся с опаской и не очень-то жалуют.

Над обывателем — городские власти: военный генерал-губернатор, гражданский губернатор, вице-губернатор, губернский прокурор, начальник казенной палаты, предводитель дворянства, архиепископ... Впрочем, на обывателя они почти никак не влияют: тот просто уважает их чины, преклоняется перед высоким положением, а что до их управлений и нововведений — то пусть к этому имеют отношение «служилые» и «баре». А те, к которым привыкли относиться как к «барам», тоже живут не бог весть как по нашим теперешним понятиям: большими семьями, в не очень-то больших, по преимуществу деревянных домах, без особенных «удобств».

И посреди этого быта возникают, как символы его, те культурные ценности, ради которых автор, собственно, и взялся ворошить «вологодские давности».

* * *

«По давности я дела этого не припомню». История, как говорили в старину, — это «очень капризная госпожа». Замечательный французский ученый Марк Блок пишет: «Разведчики прошлого — люди не совсем свободные. Их тиран — прошлое. Оно запрещает им узнавать о нем что-либо, кроме того, что оно само, намеренно или ненамеренно, им открывает»¹. Поэтому всякий, кто пишет о

¹ Блок М. Апология истории. М., 1978, с. 35.

«давностях», должен быть непременно «изыскателем» — и на этом тернистом пути он испытывает не только радости открытий, но и разочарования неудач.

Начнем с последних: даже полусторолетняя история не дает всей полноты сведений — что-то скрыто, что-то не найдено, что-то напрочь забыто. Мы не знаем, например, имени автора прекрасного стихотворения «Декабристам» («Над вашей памятью кровавой / Теперь лежит молвы позор...»), хотя можем предположить, что автор был большим поэтом и настоящим гражданином, и это стихотворение включено во многие хрестоматии. А сколько произведений литературы прошлого столетия, говоря научным языком, не атрибутировано! С другой стороны, история донесла до нас много такого, без чего мы могли бы обойтись.

До нас не дошли многие стихотворения Батюшкова и Пушкина. Многие значительные факты их биографий мы можем лишь предполагать. А сколько вымыслов осталось в мемуарах! Ни один из ближайших друзей Пушкина, литераторов, не оставил цельных воспоминаний о поэте: ни Жуковский, ни Плетнев, ни Вяземский, ни Соболевский, ни А. Тургенев... А сколько на этом поле потрудились всякие Макаровы, Грены, Бантыши-Каменские! А сколько потом пришлось потрудиться пушкинистам, чтобы определить, что в этих воспоминаниях является вымыслом, а что — правдой, а что — вообще подделкой, фальсификацией.

И все-таки нет занятия радостнее и благодарнее, чем такое вот «изыскательство». Сидишь за зеленым сукном архивного стола. Разбираешь чужие пожелтевшие письма. Письмам полтора-два лет.

Много уже писалось о так называемом «архивном волшебстве», о том, что архив — это не совсем обычное место, что, приходя туда и погружаясь в рукописи былых времен, будто переносишься в эти былые времена, чувствуешь «запах прошедшего», и прочее тому подобное. Автор соглашается с этими восклицаниями: да, действительно, «погружаешься», «переносишься», «чувствуешь»... Все это — материи старые, но все это — сущая правда.

Одна из глав книги М. О. Чудаковой «Беседы об архивах» называется «Пишите письма!»¹. В ней говорится о том, что современные люди совсем забыли искусство писать, что новейшие средства информации, прежде всего телефон, отучают нас от очень важной стороны духовной жизни — письменной речи... Мы пишем реже и короче: зачем писать, если так несложно позвонить или даже приехать.

Письма прошлого столетия — это часто произведения искусства слова, тем более замечательные, что они — «неосознанные» откровения людей, которые «пишут как говорят, а говорят как пишут»...

Еще в 1874 году наш земляк, выдающийся педагог Н. Ф. Бунаков, начал свою статью о Батюшкове таким рассуждением: «Много печатается теперь писем и записок, которые с полнотой и живостью рисуют былое. Становится жаль, что обычай вести дружескую переписку все более и более выходит из употребления... «обмен мыслей» не в моде. Литературные люди прежнего времени уже и по принадлежности большею частью к одному обществу (не говоря уже о других причинах) были, конечно, несравненно ближе между собою, чем люди тревожного и разъединенного времени... Нечего говорить, какой высокий интерес получают такие

¹ Чудакова М. Беседы об архивах. М., 1975, с. 121—165.

памятники прошлого, когда принадлежат личности замечательной¹.

Письма в подлиннике, даже известные, даже опубликованные, вызывают особенное чувство. Подумать только: когда-то *именно эту* бумагу положил перед собою, например, Батюшков, умакнул гусиное перо в фарфоровую чернильницу и...

Литературоведение не бывает без «воздуха» эпохи, веющего от пожелтевших бумаг. Литературу, как всякое искусство, нельзя «изучить» прежде непосредственного чувства. Чтобы изучить литературу прошедших времен, надобно уметь почувствовать «давности», спрятанные порою за семью замками.

* * *

«Давность не малый свидетель». Люди, книги и города имеют свою судьбу. Об этой судьбе и пойдет речь. Автор этой книги — литературовед, и выбрал он предметом разговора литературу и писателей. Он вологжанин и интересуется писателями-земляками.

Некоторых из героев этой книги вологжане числят в своих знаменитых земляках и чтут — таков Батюшков. Другие лишь упоминались как писатели, приехавшие в Вологду или жившие там. Таковы Вяземский, Надеждин, Соколовский, Фортунатов, Савваитов². Третьи забыты, и отголоски их деятельности есть лишь в качестве упоминаний в специальных исследованиях.

Литературное краеведение — это не столько проявление «местного патриотизма» («знай, мол, наших!»), сколько один из важных (и наименее изученных) разделов науки о литературе. Край, связанный с местом рождения, детством и жизнью писателя, во многом определяет характер и общий запас его понятий, образов и слов. Причем определяет с самого важного периода его жизни — с детства и отрочества, когда первые, случайные мотивы его будущих произведений уже возникают в его творческом воображении. Кроме того, в процессе, не вполне ясном еще для ученых, любой писатель (и любой художник вообще) воплощает в своих образах те черты, которые в разное время выступили, так сказать, в «среднем типе» его родины, связанном с любимым уголком огромной России. Этим прежде всего литературное краеведение соотносится с «большой» литературой.

Изучение «давностей» — процесс весьма сложный и трудоемкий, и он не может быть исчерпан усилиями одного человека. Эта книга не могла бы быть написана без помощи студентов, помогавших автору в его архивных разысканиях, без консультаций вологодских краеведов, без замечаний рецензентов и редакторов, читавших книгу в рукописи. Познание родины невозможно без коллективного изучения родного края.

«Не будь тороплив — будь памятлив» — говорит русская пословица. «Родных» писателей нужно изучать, потому что они говорили о нас и по-нашему, даже если они отделены от нас веками. И нам, уверенно шагающим в будущее, не стоит забывать о «давностях». Интерес к прошлому своего края связан с интересом к будущему.

¹ Русский вестник, 1874, № 8, т. 112, с. 503—504. Ср. рассуждение акад. М. П. Алексеева в предисловии к I тому «Писем» И. С. Тургенева: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем, т. I. М.—Л., 1961, с. 15—18.

² См.: Гура В. В. Русские писатели в Вологодской области. Вологда, 1951; Осмысленский Т. И., Озеринин Н. В., Брусенский И. И. Очерки по истории края (Вологодская область). Вологда, 1960.

Часть первая



ВМЕСТЕ С БАТЮШКОВЫМ

Вхожу в твою обитель:
Здесь весел ты с собой.
И, лени друг, покой.
Дверей твоих хранитель...

В. А. Жуковский. К Батюшкову

Певец любви, поэт игривый
И граций баловень счастливый,
Стыдись! тебе ли жить в полях?
Ты ль будешь в праздности постылой
В деревне тратить век унылый,
Как в келье дремлющий монах?

П. А. Вяземский. К Батюшкову

Играй; тебя младой Назон,
Эрот и грации венчали,
А лиру строил Аполлон.

А. С. Пушкин. К Батюшкову

КОНСТАНТИН БАТЮШКОВ. ХАНТОНОВСКАЯ ХРОНИКА

Кто хочет понять поэта, должен от-
правиться на его родину...

Гете

Место действия этой истории — деревня Хантоново Череповецкого уезда Новгородской губернии.

Время действия — «дней Александровых прекрасное начало» (так назвал его Пушкин), эпоха войн и реформ первых десятилетий прошлого века, «преддекабристская» эпоха.

Основные «персонажи» — подлинные письма и документы, которые подчас говорят красноречивее, чем вымышленные герои.

«NNN

?

Недавно я имел случай познакомиться с странным человеком, каких много! Вот некоторые черты его характера и жизни.

Ему около тридцати лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянно. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое — умирал. В походе он никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнью с чудесною беспечною, которой сам удивлялся; в мире для него все тягостно, и малейшая обязанность, какого бы рода ни была, есть свинцовое бремя... Он служил в военной службе и в гражданской: в первой очень усердно и очень неудачно; во второй удачно и очень неусердно. Обе службы ему надоели, ибо, поистине, он не охотник до чинов и крестов. А плакал, когда его обошли чином и не дали креста! Как растолкуют это? Он вспыльчив, как собака, и кроток, как овечка.

В нем два человека. Один добр, прост, весел, услужлив, богобоязлив, откровенен до излишества, щедр, трезв, мил. Другой человек — ...злой, коварный, завистливый,

жадный, иногда корыстолюбивый, но редко; мрачный, угрюмый, прихотливый, недовольный, мстительный, лукавый, сластолюбивый до излишества, непостоянный в любви и честолюбивый во всех родах честолюбия. Этот человек, то есть черный — прямой урод. Оба человека живут в одном теле...

Это я! Догадались ли теперь?»

(К. Н. Батюшков. «Чужое: мое сокровище!» — записная книжка 1817 г.)¹

1. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИЕЗДОМ

«Господин губернский секретарь Батюшков!

В воздаяние отличной храбрости, оказанной вами в сражении прошедшего мая 29-го при Гейльсберге и Лаунау против французских войск, где вы, находясь впереди, поступали с особенным мужеством и неустрашимостью, жалую вас кавалером ордена святыя Анны третьего класса, коего знак у сего к вам доставляю; повелеваю возложить на себя и носить по установлению; уверен будучи, что сие послужит вам поощрением к вящему продолжению ревностной службы вашей.

Пребываю вам благосклонный
Александр.

Военный министр: Аракчеев.

С. Петербург. 20 мая 1808»².

Прапорщику и начинающему поэту Константину Батюшкову 21 год. Позади — битва при Гейльсберге, ранение, лечение в Риге, первая любовь... И Тильзитский мир позади, и совсем уже непонятно, зачем была битва при Гейльсберге, и отчего раненая нога болит, и будет болеть до конца жизни. Впрочем, за это ранение он, высочайшим указом Александра Первого, приведенным выше, был награжден орденом — хотя и небольшим — и стал «кавалером».

¹ Выдержки из сочинений и писем К. Н. Батюшкова, кроме случаев, особо оговоренных, приводятся по изданию Батюшков в К. Н. Сочинения. Под ред. Л. Н. Майкова, тт. I—III. СПб., 1885—1887.

² Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ГПБ), ф. 50, оп. 1, ед. хр. 2. Приводимые в тексте архивные материалы собраны совместно с С. Ю. Соловьевым и Л. В. Лавровым.

Весной 1809 года «титularный советник и кавалер» Батюшков был в Аландском походе, но после него до самого конца шведской кампании в военных действиях участия не принимал: его полк был поставлен в резерв. И больше двух месяцев томился он в Финляндии, в местечке Надендаль, болея, страдая от безделья и безделья, томясь среди северных снегов.

Батюшков — поэту и другу Николаю Гнедичу, 1 апреля 1809. Из Надендаля в Петербург: «В каком ужасном положении пишу к тебе письмо сие! Скучен, печален, уединен. И кому поведаю горести раздранного сердца? Тебе, мой друг, ибо все, что меня окружает, столь же холодно, как и самая финская зима, столь же глухо, как камни. Ты спросишь меня: откуда взялась желчь твоя? Право, не знаю: не знаю даже, зачем я пишу...»

В марте 1809 года Батюшков был повышен в чине: стал подпоручиком. В апреле он подал в отставку. И ждет не дожидается, когда сможет вырваться домой...

Батюшков — сестре Александре, 12 апреля 1809. Из Надендаля в Вологду: «Будучи за 2000 верст, я не могу давать советов, но если бы вы построили дом в Хантонове, это бы не помешало; стройте для себя, какой вы заблагорассудите. Но деньги небольшие на это нужны. Лучше рано, нежели поздно, иметь верный приют. Напиши мне об этом. Да не забудь присмотреть за садом и моими собаками. С каким удовольствием я бы возвратился под тень домашних богов!»

Луга веселые, зелены!
Ручьи прозрачны, милый сад!
Ветвисты ивы, дубы, клены,
Под тенью вашу прохлад
Ужель вкушать не буду боле?..

(«Совет друзьям»)

Хантоново было наследственным имением матери, Александры Григорьевны, урожденной Бердяевой. Батюшков ее почти не помнил. Когда ему было четыре года, мать (после рождения младшей дочери, Вареньки) заболела душевной болезнью, была увезена в Петербург, где и умерла в 1795 году. Хантоново пустовало...

В 1807 году отец, Николай Львович, женился вторично (на устюженской дворянке Авдотье Никитичне Теглевой), и между ним и его незамужними дочерьми, Александрой и Варварой, произошел разлад. В разгар

этого разлада, в августе, в Даниловское приехал Константин, еще не вполне оправившийся от ран Прусского похода. Его разговор с отцом и мачехой усугубил и без того тяжелую размолвку, и вскоре он вместе с сестрами переехал в Хантоново, в старинный барский дом на высоком холме, недалеко от величавой Шексны.

Хлопоты по разделу имения продолжались больше года, и поэт, оказавшийся единственной надеждой своих сестер, активно в них включился и весь год провел в разъездах: то в Петербург, где он тяжело заболевает; то в Вологду, где мучается от каких-то «сплетней и клевет»; то в Череповец, где 12 июня 1808 года в уездном суде происходит раздел имения между ним и отцом.

Батюшков стал помещиком. Начались хлопоты, отнюдь не поэтические.

«Расписка.»

Милостивый государь мой Абрам Ильич!

Так как вы, попечитель моего имения и сестер моих, изволили занять для наших надобностей две тысячи рублей, которые я и получил, о чем даю вам сию расписку.

Покорнейший слуга Константин Батюшков.

Сентября, 6 дня, 1807»¹.

Эта расписка дана Абраму Ильичу Гревенсу, мужу старшей сестры Анны, петербургскому чиновнику. Подобные документы стали путеводными вехами судьбы Батюшкова. Кому только он не писал расписок! И второму шурину своему Павлу Алексеевичу Шипилову (мужу сестры Елизаветы), вологодскому дворянину. И в английский банк. И какому-то нижегородскому мещанину Ивану Серякову. В архивах сохранилось около сотни батюшковских расписок: и на две тысячи, и на тысячу, и на пятьсот рублей, и даже на четыре рубля восемь копеек!.. До конца жизни помещик Батюшков так и не смог избавиться от векселей и долгов.

На это стоит обратить внимание. Много стихов и прозаических произведений, добрая половина творческого наследия Батюшкова, безвозвратно утрачена, а векселя и расписки — вот они, лежат!.. К деньгам во все времена относились бережнее, чем к стихам.

¹ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (далее: ИРЛИ), ф. 19, ед. хр. 53, л. 1.

2. СУДЬБА ХАНТОНОВСКОЙ УСАДЬБЫ

Усадьба Батюшкова в Хантонове, сохранилась она до наших дней, имела бы огромное мемориальное, историко-культурное, научное и вообще человеческое значение. Это своеобразная «творческая дача» поэта, куда он убегал от суеты и где написана добрая половина его произведений.

Под тению черемухи млечной
И золотом блистающих акаций
Спешу восстановить алтарь и муз, и граций,
Сопутниц жизни молодой...

(«Беседка муз»)

В декабре 1979 года в череповецкой городской газете «Коммунист» была опубликована заметка «Восстановим усадьбу Батюшкова в Хантонове!», в которой, между прочим, содержалось обращение к хантоновским старожилам поделиться своими воспоминаниями. Автор разговаривал со многими старожилами, бродил по холму, на котором была расположена усадьба Батюшкова, ныне не существующая.

Это был тихий и величавый уголок русского Севера. Огромный живописный холм, когда-то с видом на реку Шексну, а теперь на Рыбинское водохранилище. На нем — декоративные уступы, вырытые еще в XVIII веке крепостными крестьянами. На верхнем уступе — дом, окруженный сиренью и орешником, и два флигелька. В 1815—1816 годах дом, старый и ветхий, был несколько подновлен и перестроен неким местным архитектором, а потом, в середине 40-х годов прошлого столетия, сгорел... Но сад возле дома был поистине уникальным для наших северных мест.

На верхнем уступе росла липовая аллея («двум человекам одного дерева не обхватить», — вспоминают старожилы), да и при жизни поэта эти липы были уже большими. Тут же, возле «барского луга», — два декоративных пруда прямоугольной формы. В них в батюшковские времена, говорят, водились черные лебеди. Возле лип — сирени, акации, аллеи...

Второй уступ был большим цветником, садом, разбитым по образцу версальских садов. Дорожки были убраны желтым песком, а на клумбах (которые тогда назывались «куртины») росли цветы...

Батюшков — сестре Александре, 3 апреля 1816.

Из Москвы в Хантоново: «Достань на весну роз, если можно, и проси Ивана-садовника моим именем, чтобы он постарался за цветами; не прислать ли тебе семян цветочных? Здесь тотчас достать можно...»

Нижний уступ был парком в английском роде. «Клены диковинные, липы, рядочками посаженные, еще какие-то деревья, сирень и еще другие кусты, а поодаль — крупный ельник, голубые ели рядочками посажены...» Так вспоминают старожилы. Судя по отрывочным фразам писем Батюшкова и его сестер, этот парк был разбит в 1813 году пленными французами.

Батюшков — поэту и другу В. А. Жуковскому, июнь 1817. Из Хантонова в Петербург: «Благодаря Провидению, у меня беседка в саду, четыре опрятные, веселые комнаты, и твой портрет, и Вяземского; с балкона вид прелестный: река, лес, одним словом: *прелесть...* для проходящих».

Эта беседка (ей, между прочим, посвящено стихотворение Батюшкова «Беседка муз») находилась на нижнем уступе, и остатки ее можно было видеть десять лет назад...

Призыв о восстановлении батюшковской «прелести» был брошен в 1979 году. А разрушена была она... в 1974 году. Не разобрался директор совхоза, расширявший пахотные угодья, прошляпили районные руководители, и... Вот уж поистине: что имеем не храним, потерявши — плачем. От всего мемориального комплекса остался лишь нижний декоративный пруд да десяток деревьев вокруг него.

Здесь мог бы быть памятник, подобный Михайловскому Пушкина на Псковщине, Овстугу Тютчева на Брянщине, Красному Рогу А. К. Толстого там же, Мишенскому Жуковского под Белевом, Ясной Поляне, Тарханам, Абрамцеву, Муранову, Болдину, Спасскому-Лутовину... Там теперь музеи, туда приезжают люди, любящие русскую культуру.

В Хантонове на месте усадьбы Батюшкова посеян лен. Мы можем совершить путешествие только в прошлое.

3. 1809 ГОД. ДИАЛОГИ С ГНЕДИЧЕМ

Итак, в конце мая — начале июня 1809 года Батюшков, наконец-таки получивший отставку, приехал из Финляндии в Петербург. Там его встретили не радости, а

новые огорчения. Во время его отсутствия, в 1808 году, умерли самые близкие ему люди: сестра Анна («дом Абрама Ильича осиротел») и дядя, воспитатель и первый литературный наставник М. Н. Муравьев («покойного Михаила Никитича и тени не осталось»). Сейчас, в начале лета, все знакомые петербуржцы разъехались по дачам, «все переменялось»... А отставному подпоручику отнюдь не до дачных удовольствий.

Батюшков — сестрам, 1 июля 1809. Из Петербурга в Хантоново: «Надеюсь, что вы покойнее, нежели когда вас оставил. Здесь и по делам нашим худого или, лучше сказать, худшего ничего не слышал. Итак, друзья мои, ожидайте меня у волн Шексны!.. Целую вас, друзья мои, приготовьте комнату, а я накупил книг...»

К исходу июля Батюшков был уже в деревне. Первые недели он очень доволен жизнью и уединением. Сестры окружают его заботой, да и сам он счастлив после долгого и утомительного похода отдохнуть душой и развеяться...

Очень показательна в этом смысле переписка Батюшкова с Николаем Ивановичем Гнедичем, поэтом и верным другом, знаменитым «преложителем Гомера». Впрочем, ни Гнедич, ни Батюшков — пока что вовсе не «знаменитые», а только еще «начинающие». Их письма — как своеобразный диалог, где не строчки, а голоса.

Диалог веселый. Август-сентябрь 1809.

Б а т ю ш к о в: Где ты поживаешь, друг мой? Радищев пишет, что на дачу переезжаешь. Приезжай лучше сюда; решишь — и дело в шляпе.

Тебя и Нимфы ждут, объятья простирая,
И Фавны дикие, кроталами играя.
Придешь, и все к тебе навстречу прибегут
Из древ Гамадриады,
Из рек обмытые Няяды,
И даже сельский поп, сатир и пьяный плут.

Г н е д и ч: Насилу дал тебе бог силу отозваться, а я уже начинал думать, что весь Череповской округ обрушен землетрясением, но слава богу, кончилось тем, что ты было прихворнул, если не прибрехнул.

За то и Поп, и Пан, и Фавны, и Няяды
Пускай тебе кричат стихи из «Петриады»!¹

¹ Здесь и далее выдержки из неопубликованных писем Н. И. Гнедича приводятся по автографу: ИРЛИ, р. I, оп. 5, ед. хр. 56.

Б а т ю ш к о в: А если не будешь, то все переменит вид, все заплачет, зарыдает:

Цветы завянут все, завоют рощи дики,
Слезами потекут кристальны ручейки,
И, резки испутив в болоте ближнем клики,
Прочь крылья наострят носасты кулики.
Печальны чибисы, умильны перепелки,
Не станут пастухи играть в свои свирелки,
Любовь и дружество погибнет все с тоски!

Вот тебе два мадригала, а приедешь — и целая поэма.

Г н е д и ч: Ты думаешь точно как рыцарь Ламаханский: оседлал Рыжака, надел лоханку на голову и поехал; так бы и я сделал, если бы не имел ни дел, ни отношений, ни связей, ни обязанностей; но и тогда бы не сделал так скоро, как ты рассказываешь.

Б а т ю ш к о в: Уведомляй меня почаще: здесь в пустыне и ковчег Ноев — новость, а у вас там ничему не удивляются... Мужайся, Улисс! Здесь же ни одной сирены, а спутников итакского мужа, который десять лет плыл по Малой Азии на каменный и бедный остров, очень много... Я отворил окно и вижу: нимфа Ио ходит, голубушка, и мычит бог весть о чем; две Леды кричат немилосердно. Да посмотри... там в тени — право стыдно!.. бараны, может быть, из стада царя Адмета¹. Накинем занавесь целомудрия на сии сладостные сцены, как говорит Николай Михайлович Карамзин в «Наталье»². Пожалуйста, пришли мне стихов из Петербурга, а я тебе пришлю перчаток замшевых хоть дюжину.

Г н е д и ч: Я живу на даче у Анны Петровны³; часто бываю в городе, и эти дни почти все в городе, провозжая в Тверь Гагарина, уехавшего туда с моею Аполлоншею⁴, к которой я начинал, начинал, начинал, да и до сих пор

¹ «Итакский муж» — Одиссей, спутники которого были превращены в свиней; «Ио» — нимфа, возлюбленная Зевса, превращенная в корову; «Леда» — гусыня; «Адмет» — фессалийский царь, стада которого пас Аполлон (греческая мифология).

² Повесть Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» (1792).

³ А. П. Квашнина-Самарина, фрейлина Екатерины II, любительница литературы и покровительница молодых дарований.

⁴ Князь И. А. Гагарин, камергер двора, был близок со знаменитой трагической актрисой Е. С. Семеновой, впоследствии ставшей его женой. Н. И. Гнедич обучал Семенову театральной декламации. Батюшков в сентябре 1809 г. написал «Стихи Е. С. Семеновой» («Я видел красоту, достойную венца»), о которых его просил Гнедич.

не кончил стихи, которые бы мне очень хотелось написать ей; хотя я уже благодарил ее прозой, но стихами, — стихами поблагодари хоть ты за меня.

Б а т ю ш к о в: Ты получил пенсион! Сердце у меня выскочить хотело от радости... Да здравствует князь Гагарин!..¹ Ну слава богу, ты имеешь кусок верного хлеба; великое дело!

Г н е д и ч: Я прощаюсь с миром — Гомер им для меня будет. Ограждая тройным щитом мужества, я по окончании 8-й песни печатаю обе, посвящая великой княгине. Вот тогда-то воскликни: мужайся, Улисс!

Б а т ю ш к о в: Я любил всегда Гомера, а теперь обожаю: он, кроме удовольствия неизъяснимого, делает добро человечеству. Да тень его потрясется на Олимпе от радости!

Г н е д и ч: Я вижу тебя со слезами на глазах. Признаюсь, что читавши письмо твое, я не мог от них удержаться. Твоей дружбе обязан я за сладкие слезы в жизни. Они текли от смеху, от радости. Я тебя так обнимал мысленно, что грудионка твоя треснула бы, если бы ты был в моих объятиях.

Б а т ю ш к о в: ...Табаку ожидаю, как цветок росы; если можешь прислать турецкого, хорошего, лучшего, такого, что не стыдно курить в Магометовом раю, на лоне гурий: с аравийским ароматом, с алоем, шафраном, с анемонами, с ананасовым соком... Ты понимаешь!

Г н е д и ч: На твои у меня деньги я следующими почтами все писанное вышлю; турецкого табаку пришлю такого, что ты до блевоты закуришься, зато 5 р. фунт: с ананасами, с анемонами — понимаешь?!

Батюшков живет, радуясь письмам от немногих друзей и родных. Адрес на этих письмах, по тогдашнему обычаю, весьма краток: «Милостивому государю Константину Николаевичу Батюшкову. В Череповец». Раз в неделю кто-то из дворни (всего вероятнее, камердинер Яков) ездит в Череповец за почтой. Раз в неделю — радости и новости. А остальные шесть дней?

Соседей у владельцев Хантонова немного, да и те в основном люди недалекие, «деревенские старожилы» Башмаковы, Ильинские, Карауловы... «С какими людь-

¹ И. А. Гагарин в 1809 году выхлопотал для Гнедича «пенсион» для того, чтобы тот работал над переводом «Илиады» Гомера. Перевод растянулся на 20 лет: он был закончен и издан лишь в 1829 году.

ми живу! — восклицает Батюшков в письме к тому же Гнедичу. — Я с тех пор, как с тобой расстался, никому даже полустушишия, не только своего, но и чужого, не прочитал».

В тишине «уединенных полей» меняется даже былой идеал романтического поэта, поэта-затворника. Когда-то, около 1804—1805 гг., Батюшков написал подражание известному посланию Ж. Б. Грессе «Обитель». Он вообразил самого себя живущим «в тихой хижине», питающимся любовью и воображением... Поэтическая картина получилась, однако, не очень веселой:

Ветер воев всюду в комнате
И свистит в моих окончинах,
Стулья, книги — все разбросано:
Тут Вольтер лежит на библии,
Календарь на философии.
У дверей моих мяучит кот,
А у ног собака верная
На него глядит с досадою.
Посторонний, кто взойдет ко мне,
Верно, скажет: «Фебом проклятый,
Здесь живет поэт в унынии».

И вот сейчас сам Батюшков очутился в положении затворника. Прошел июль, август и сентябрь — наступила слякотная осень. А с нею — осенняя скука, неотделимая от «обители». «Если б ты знал, что здесь время за вещь? Что крылья его — свинцовые? Что убить нечем? Уж я принужден читать пряники Долгорукова, за неимением лучшего».

Однообразие одолевает тихим тиканьем часов да ленивым лаем бездельных собак. Иногда нестерпимо хочется уехать прочь, но — нет денег... Оброк не собран, хлеб не продан, Глуповский староста ворует, и надобно бы поехать да разобраться... И Батюшков не трогается с места.

Диалог философский. Ноябрь 1809.

Б а т ю ш к о в: Госпожа Севинье, любезная, прекрасная Севинье¹, говорит, что если б она прожила только двести лет, не более, то сделалась бы совершенною женщиною. Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума. Право, жить скучно, ничто не утешает. Время летит то

¹ Маркиза Мария Севинье (1626—1696) — французская писательница, автор «писем» к дочери, получивших широкую известность и ставших образцами французской эпистолярной прозы.

скоро, то тихо; зла более, нежели добра; глупости более, нежели ума; да и что в уме?.. В доме у меня так тихо; собака дремлет у ног моих, глядя на огонь в печке; сестра в других комнатах перечитывает, я думаю, старые письма... Я сто раз брал книгу, и книга падала из рук. Мне не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту... Что делать? Разве поговорить с тобою?

Гнедич: Есть, друг, минуты, в которые бы хотелось поделиться некоторыми чувствами с кем-нибудь умеющим в моем молчании понимать их; но где сей *кто-нибудь*?

Чувствий сладких сердце полно
К чьей груди я приложу?..

Всякое неразделенное чувство тяжело, как и самая печаль. — Не добре есть человеку быти единому...

Батюшков: Недавно читал Державина «Описание Потемкинского праздника». Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное воображение — все это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел перед собой людей, толпу людей, свечи, апельсины, брильянты, царицу, Потемкина, рыб — и бог знает чего не увидел, так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре... «Что с тобой?» — «Они! Они!» — «Перекрестись, голубчик». Тут-то я насилу опомнился. Но это описание сильно врезалось в мою память. Какие стихи!..

Гнедич: За эти сладкие минуты я имею целые дни, в которые хотел бы бежать из света. Не думаешь ли ты, что это бывает со мною тогда, как я сижу дома, один с своею задумчивостью? Нет — тогда как бываю в обществах, в обществах, где думал я найти пищу для ума, для вкуса, для сердца; где воображал, что, беседуя с певцом Фелицы, буду иметь и удовольствие, и пользу, и мечтания о пирах Потемкина, о счастливом веке Екатерины, — и что же я встречаю, что вижу, что слышу?..

Батюшков: Можно ли так состариться в 22 года! Непозволительно!

Гнедич: Я давно уже отказался не вмешиваться ни в какие разговоры, ибо их, сколь я заметил, ведут или дураки, или о дурачестве; а теперь в состоянии отказаться не входить ни в какие общества, ибо или я один дурак, или все люди, их составляющие... Не хочешь ли, друг, сделать мне компанию бежать со света!

«Бежать со света» — это для Батюшкова. С этого времени начинает проявляться очень своеобразный жизненный облик его как «первого онегинского типа русской литературы»¹. Это «онегинство» проявляется и внутренне: в постоянной душевной разорванности, неуспокоенности, и внешне: в острейших признаках «хандры», «охоты к перемене мест». Батюшков не мог жить на одном месте более полугода. В деревне он тяготится одиночеством, стремится к столичному шуму, к веселым друзьям. Попадая в столицы, начинает рваться к деревенскому уединению, к творчеству. До 1812 года он так и не поступает на службу, хотя этого требуют и материальные обстоятельства, и друзья (например, Гнедич, который неоднократно пишет об открывшихся выгодных «ваканциях»). В канцелярии Батюшков служить не хочет: не желает становиться «расставщиком кавык и строчных препинаний». В военной службе — не может по расстроенному здоровью. Не становится он и дельным помещиком: его хозяйственная деятельность не простиралась далее разведения садовых цветов.

Даже профессиональным литератором Батюшков никогда себя не считал. Постоянное сомнение в своем даровании рождало в нем чувство, что успех его стихов и прозы — случаен, что в них «недостает искусства», что пишет он, как и живет, «ни хорошо, ни худо»...

Батюшков — Гнедичу, 1 ноября 1809. Из Хантонова в Петербург: «Я еще могу писать стихи, пишу кое-как. Но к чести своей могу сказать, что пишу не иначе, как когда яд пса метромании подействует, а не во всякое время. Я болен этой болезнью, как Филоктет раною, то есть временем...»

4. ИСТОРИЯ ЗНАМЕНИТОЙ САТИРЫ

Осенью 1809 года «яд пса метромании» начал действовать сильнее и сильнее. Батюшкова все чаще тянет к старому письменному столу. Неожиданно «затворничество» оборачивается иной стороной — наступает творчество, приходит вдохновение и уютно устраивается в пустом доме, на островке, посреди мелкого дождя и осенней слякоти. И даже благоприобретенные болезни не очень ему мешают.

¹ См.: Благой Д. Д. Судьба Батюшкова. — В кн.: Батюшков К. Н. Сочинения. М.—Л., 1934, с. 11—19.

Особенно охотно писались стихи. Цикл «воспоминаний» о первой любви: «Воспоминание 1807 года», «Выздоровление», «К Маше». Стихотворные послания: «Стихи Е. С. Семеновой», «Ответ Гнедичу», «Послание г. Велеурскому». «Веселый час» — переделка раннего стихотворения «Совет друзьям». Маленькие наброски: «Пафоса бог, Эрот прекрасный», «На крыльях улетают годы...»

Но значение этой хантоновской осени не исчерпывается количеством написанных стихов. Здесь совершилось «воспитание таланта» Батюшкова. Здесь он, наконец, нашел свои формы, свои темы, свое поэтическое видение мира. Здесь начинающий стихотворец стал большим художником, который мог свободно распоряжаться своим дарованием.

В эту осень Батюшков много читает. Французские просветители: Вольтер и Руссо. Итальянские классики: Петрарка, Тассо, Ариосто. Английский моралист Джон Локк. «Новейший француз» Эварист Парни. Античные поэты: Гораций, Вергилий, Тибулл...

Римские поэты привлекли Батюшкова к «антологическому роду»: и сейчас, в деревне, он переводит «Тибуллову элегию X из 1-й книги», как бы открывшую его цикл «Подражаний древним»:

Пусть молния богов бесщадно поразит
Того, кто красоту обидел на сраженьи!
Но счастлив, если мог в минутном исступленьи
Венок на волосах каштановых измять
И пояс невзначай у девы развязать!..

Батюшков как бы «учится», вовсе не осознавая себя большим поэтом. Для него была характерна постоянная недооценка своего творчества. Его позиция «дилетанта», постоянное сомнение в своей «крохотной музе», как это ни парадоксально, стали приводить поэта к широчайшим творческим поискам. Батюшков постоянно «открывал» новые жанры, новые темы для литературы и, как открыватель, во многом определил ее последующие моменты: темы и мотивы Пушкина, Боратынского, Лермонтова, Тютчева...

В 1809 году новая русская литература еще только рождалась. Рождалась тяжело: в трудах и спорах. Уже в последнее десятилетие XVIII века теоретически и программно оформились два «направления». Военные действия между ними были открыты в 1803 году, когда гла-

ва «литературных староверов» адмирал А. С. Шишков выпустил «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», направленное против новейших «светских» писаний Карамзина и иных модных словотворцев, которые-де проникнуты «наклонностью к безверию, к своевольству, к повсеместному гражданству, к новой и пагубной философии»: Карамзин и школа «новейших» литераторов противопоставлялись Шишковым «классикам» XVIII века, а новейшие «классики» и поклонники старины стали стекаться под знамена Шишкова, объединяясь на «вечерах» Г. Р. Державина или на «литературных субботках» 1807—1809 гг.

Ко времени выхода в свет «Рассуждения...» Шишкова Н. М. Карамзин уже «ушел» из литературы в историю. Возражения Шишкову высказали его молодые сторонники: М. Н. Макаров, Д. В. Дашков, Н. А. Никольской. Группа сторонников Карамзина все более укрепляется: молодой поэт В. А. Жуковский, родственник и воспитанник Карамзина П. А. Вяземский, В. Л. Пушкин, Ф. Ф. Иванов, А. Ф. Воейков... Читательским кругам больше по душе «карамзинское» направление, и московский журнал «Вестник Европы» в иные годы достигает неслыханно большого тиража — 1200 экземпляров!

С началом наполеоновских войн у литературных староверов появляется поддержка: группа писателей-«патриотов», судорожно ополчившаяся против французского влияния в обществе и литературе, провозгласившая «русское» начало и «русское» направление. С. Н. Глинка выпускает журнал «Русский вестник». Ф. В. Ростопчин выводит на литературную арену признанного любителя «русских» нравов помещика Силу Андреевича Богатырева, уже именем своим воплощающего (по мысли Ростопчина) удаль народа русского, независимого от всяких там «французишек»...

Батюшков — Гнедичу, 1 ноября 1809. Из Хантонова в Петербург: «Еще два слова: любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками и, что еще более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели выхваляют все старое?.. Но поверь мне, что эти патриоты, жаркие декламаторы не любят или не умеют любить русской земли. Имею право сказать это, и всякий пусть скажет, кто добровольно хотел принести жизнь на жерт-

ву отечеству... Да дело не о том: Глинка называет «Вестник» свой «Русским», как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: русское, русское, русское... а я потерял вовсе терпение!»

Рядом с враждующими литературными направлениями плавала поэтическая «пена». Семен Бобров — поэт, писавший настолько темно и пространно, что мудрено было догадаться, о чем он пишет... Петр Шаликов — «карамзинист», который довел «чувствительность» произведений своего учителя до крайних пределов манерности и приторности... Взялись за поэзию и женщины — «Сафы русские»: Е. Титова, А. Бунина, М. Извекова... Затерянный среди лесов новгородских, Батюшков едва не заблудился в русском поэтическом лесу.

К осени 1809 года относится большинство батюшковских эпиграмм, направленных против литературных нравов. «Книги и журналист», «Эпиграмма на перевод Виргилия», «На перевод «Генриады» или превращение Вольтера» и т. д. Каждая из них — маленькая законченная поэтическая картина. Вот — С. С. Бобров:

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться!

Вот новейшая поэтесса: в эпиграмме используется известный миф о поэтессе Сафо, которая безнадежно влюбилась в прекрасного юношу Фаона и, не встретив взаимности, бросилась в море с Левкадской скалы.

Ты — Сафо, я — Фаон, — об этом и не спорю,
Но к моему ты горю,
Пути не знаешь к морю.

Вот идеал сентиментальных повестей: скромная девушка, похожая на нимфу:

Ты Нимфа, Ио, — нет сомненья!
Но только... после превращенья!

(Новая отсылка к мифологии: нимфа Ио — греческая царевна, возлюбленная Зевса, которая была превращена богиней Герой в корову... Не такое ли превращение испытывают нынешние «бедные Лизы»?)

Батюшков не столько злится, сколько грустит. Ему не столько смешно, сколько досадно за нынешнюю литературу...

От этой досады у него и родилась новая сатира «Видение на брегах Леты», написанная едва ли не в один присест.

В конце октября Батюшков послал новую сатиру Гнедичу, после чего произошел следующий литературный диалог.

Б а т ю ш к о в: Как тебе понравилось «Видение»? Можешь сжечь, если не годится. Этакie стихи слишком легко писать, и чести большой не приносят. Иным больно досталось. Бобров, верно, тебя рассмешит¹. Он тут у места. Славенофила² вычеркни, да и все, как говорю, можешь предать огню и мечу.

Г н е д и ч: Я получил экземпляр с поправками, они хороши; прибавления бесподобны; не знаю отчего, а мне безыерный более всех понравился³: «Невинен я!» — это высокое! Без сомнения, что приезд Славенофила есть оригинальнейшая из картин, я также вижу кувырканье Саф и смеюсь до поту. Но полно тебе кадить, чтоб не разбить носа.

Б а т ю ш к о в: Голова ты, голова! Сказать Оленину⁴, что я сочинил «Видение!» Какие имел ты на это права? Ниже отцу родному не долженствовало об этом говорить. Он же извинителен, ибо не знал и впрямь, хочу ли я быть известен. Но ты, но ты? Стыдно, очень стыдно.

Г н е д и ч: И ты голова! Присылай одни «Пальцы» и «Оды на старость»⁵, так будь уверен, что не только никому не покажу, да и сам в другой раз читать не стану, — а можно ли утерпеть, не показать хороших стихов надежным, как казалось, людям, и можно ли не сказать имени, когда выпуча глаза его спрашивают и когда сердце жаждет разделить с ними свое удовольствие?

Б а т ю ш к о в: Произведение довольно оригинальное,

¹ Семен Сергеевич Бобров (1768—1810) — поэт-классицист, мистик.

² Ироническое прозвище Александра Семеновича Шишкова (1754—1841), писателя и государственного деятеля, главы «староверов».

³ Имеется в виду Дмитрий Иванович Языков (1773—1845), писавший принципиально без твердых знаков («без еров»).

⁴ Алексей Николаевич Оленин (1763—1843) — писатель и художник, любитель и знаток искусства, директор Публичной библиотеки, президент Академии художеств; в 1809 г. — глава известного литературного салона.

⁵ Эти произведения Батюшкова до нас не дошли.

ибо ни на что не похоже. Теперь, ибо имя мое известно, хоть в печать отдавай.

Гнедич: Стихи твои читают наизусть: можешь судить, нравятся ли они. Каков был сюрприз Крылову; он на днях возвратился из карточного путешествия; в самый час приезда приходит к Оленину и слышит приговоры курносого судьи на все лица; он сидел истинно в образе мертвого; и вдруг потряслось все его здание; у него слезы были на глазах; признаться, что пиеса будто для него одного писана.

Батюшков: Впрочем, я бы мог написать все гораздо *злее*, в роде Шаховского¹. Но убоялся, ибо тогда не было бы смешно.

Гнедич: Да смотри не очень открыто. Ведь дураки сердиты, а Мерзляков не из умных². Один приезжий из Москвы сказывал мне, как там разбирали твои мечтания, напечатанные в «Вестнике Европы»...

Батюшков: Что, бранят меня? Кто и как, опиши чистосердечно. Заметь, кто всех глупее, тот более и прогневаётся... Какая слава, какая польза от этого? Никакой. Только время потерянное, золотое время для сна и лени... Умру, и стихи со мной.

Не нужны надписи для камня моего,
Скажите просто здесь: он был и нет его!

Вот моя эпитафия.

Этот литературный диалог требует пояснений. Сатира, «слишком легко» написанная Батюшковым, не предназначалась для печати и была в незаконченном виде послана Гнедичу в Петербург. Тот прочитал сатиру в салоне Олениных, где она вызвала всеобщий восторг. Оленин сделал несколько списков с «Видения на берегах Леты» — и она чрезвычайно быстро распространилась по всему Петербургу, а чуть позже — и по Москве. В конце 1809 года поэт Батюшков стал по-своему знаменит. Одни горой встали на защиту сатиры, другие рьяно ополчились на него. Пришла популярность: имя почти неизвестного стихотворца стало у всех на устах.

¹ Александр Александрович Шаховской (1777—1846) — драматург и поэт-сатирик, сподвижник А. С. Шишкова.

² Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830) — поэт и критик, профессор Московского университета; высмеян Батюшковым под прозвищем «Верзлякова».

«Видение на берегах Леты» начинается так:

Вчера, Бобровым усыпленный,
Я спал и видел чудный сон!..

Сон, действительно, чудесный: все современные поэты внезапно попадают в царство мертвых. Батюшков неистощим в насмешке, иногда двусмысленной:

Иной из них окончил век,
Сидя на чердаке высоком,
В издранном шлафроке, широком,
Наг, голоден и утомлен
На небо девственною рифмой.
Другой в Цитеру пренесен,
Потев над прекрасной нимфой,
Хотел ее насильно... петь! —
И пал без чувств в конце эклоги...

(Из ранних вариантов «Видения...»)

«Фебовы дети» собираются возле одной из девяти рек, окружающих (согласно мифологии) царство мертвых — возле Леты, реки забвения. На ее берегах идет суд, который вершит вестник богов Гермес (Эрмий) и прославленные поэты прошлого. А «божественная» река решает: кто из современных писателей достоин бессмертия. Испытания в реке забвения не выдерживает подавляющее большинство писателей: и «шишковисты», и «карамзинисты», и иже с ними. Забвения, по Батюшкову, заслуживают и «с Невы поэты росски» (последователи обветшалого классицизма), и «лица новы из белокаменной Москвы» («папушки» вроде Шаликова и иных подражателей Карамзина).

С особенным пристрастием Батюшков относится к рукоделью новоявленных поэтесс:

Тут Сафы русские печальны,
Как бабки наши повивальны,
Несли расплаканых детей.
Одна — прости бог эту даму! —
Несла уродливую драму,
Позор для ада и мужей,
У коих сочиняют жены...

Бессмертия удостоивается лишь Иван Андреевич Крылов и (с оговорками) адмирал Шишков. Последнего Батюшков именует «славенофилом»: он первый ввел в русский язык это слово и это понятие...

Один, один *Славнофил*,
И то повыбившись из сил,
За всю трудов своих громаду,
За твердый ум и за дела,
Вкусил бессмертия награду.

Об антагонисте Шишкова Карамзине Батюшков в «Видении...» не упомянул, но в письме к Гнедичу высказался двусмысленно: «Карамзина топить не смею, ибо его почитаю». Вероятно, было за что «топить»! Батюшков еще не определился как «карамзинист» и как будущий «арзамасец».

Однако именно «Видение на берегах Леты» открыло стихию будущих сатир Жуковского, Вяземского, Дашкова, Воейкова. Оно стало каноном литературной «сатиры» первой четверти XIX века. «Усыпление» от бездарных стихов, чудесное «сновиденье», явление Аполлона, мотив забвения «стихов и прозы безрассудной», провозглашение поэтической независимости, перенесение действия в ад, в загробное царство, которое изображается «сниженным», бытовым — эти мотивы стали популярны в литературной борьбе пушкинской эпохи. Поэтому «Видение...» продолжало сохранять свое значение для литературной полемики в течение всего последующего десятилетия (хотя впервые было напечатано много позже, в 1841 году). Но ему подражал молодой Рылеев в своем отрывке «Путешествие на Парнас» и лицеист Пушкин в поэме «Тень Фонвизина». В стихотворении «Городок» Пушкин назвал батюшковское «Видение...» в числе «драгоценных» сочинений, «презревших печать».

Еще продлилось сновиденье,
Но ваше длится ли терпенье
Дослушать до конца его?
Болтать, друзья, неосторожно —
Другого и обидеть можно.
А боже упаси того!

5. МОСКВА

В конце ноября 1809 года к хантоновскому отшельнику пришла хандра. Батюшкову 22 года, а он все еще «в тягость себе и ни к чему не способен». Он участвовал в двух тяжелейших военных походах — но призвания к военной службе не чувствует. А служить надобно: иных средств к существованию нет. Кто он? Подпо-

ручик в отставке. Чиновник без места. Душевладелец без денег. Поэт... Но это ведь не профессия.

Гнедич из Петербурга постоянно поучает: «Тебе должно служить», — и выхлопотал через князя И. А. Гагарина какое-то «тепленькое» местечко, зовет в Петербург: «Дай боже — приезжай, — да будет Локий Фив кондуктором!»

Батюшков — Гнедичу, начало декабря 1809. Из Хантонова в Петербург: «...Я бросил намерение ехать на службу, надолго ли — не знаю. Но теперь довольно покоен, ибо не желаю ничего с большим аппетитом. Еду в Вологду на неделю, стану принимать хину, и если вылечусь, то отправлюсь в Москву, а по весне на Кавказские воды, ибо путешествие сделалось потребностью души моей».

Потом Гнедич отослал Батюшкову какое-то «ругательное» письмо, до нас не дошедшее. А тот в начале декабря, по первому зимнему пути, выехал в Вологду, где сразу же слег в постель, простудившись в дороге...

Н. Л. Батюшков — Константину, 15 декабря 1809. Из Даниловского в Вологду: «Письмо твое из Вологды получил и жалею душевно, что ты, мой друг, болен, а еще сожалею больше о том, что ты себя поручил Глазову. Помнится, в мою бытность он был лекарем в Грязовице, и если это тот, кажется, выбор твой весьма неудачен»¹.

Несмотря на опасения отца, Батюшков оправился довольно быстро: недели через две он выехал из Вологды, и 25 декабря, на рождество, был уже в Москве, в гостеприимном доме в Арбатской части на Никитской улице, в приходе Георгия на Всполье, где жила Е. Ф. Муравьева с малолетними сыновьями Никитой и Александром, будущими декабристами. Там он прожил всю первую половину 1810 года.

Появились новые друзья, преимущественно из молодых литераторов: В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Д. П. Северин. И не из молодых: Н. М. Карамзин, В. Л. Пушкин (дядя поэта). В беседах с ними Батюшков нашел то, чего ему недоставало не только в деревне, но и в Петербурге: справедливую оценку своего поэтического направления. Это — сближает. Вскоре отношения с ними переросли в дружбу: над Батюшковым

¹ ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 24.

молодые друзья посмеиваются за его небольшой рост и «легкость поэтической руки, прозывают его Пипинька (персонаж одной из комедий Мольера) и Парни Николаевич¹. Это — не обижает.

Времяпрепровождение — самое свободное: обеды, балы, поэтические вечеринки, карты, дамы «и пунша пламень голубой». Батюшков раз даже участвовал в грандиозном увеселительном предприятии — «блестящем каруселе» — так называлась воинская конная игра в подражание средневековым рыцарским турнирам. Описание этого «каруселя» есть в замечательном очерке Батюшкова «Прогулка по Москве».

Батюшков — Гнедичу, февраль 1810. Из Москвы в Петербург: «Я гулял по бульвару и вижу карету; в карете барыня и барин; на барыне салоп, на барине шуба и на место галстуха желтая шаль. «Стой!» И карета стой. Лезет из колымаги барин. Заметь, я был с маленьким Муравьевым². Кто же лезет? *Карамзин*. Тут я был ясно убежден, что он не пастушок, а взрослый малый, худой, бледный, как тень. Он меня очень зовет к себе; я буду еще на этой неделе и опишу тебе все, что увижу и услышу».

Несмотря на уговоры Гнедича, Батюшков в Петербург на службу не торопился. Тогда Гнедич отправился сам. По дороге на родину, в Полтавскую губернию, он завернул в Москву, где в начале июня встретился с «непутевым» приятелем. В Батюшкове он нашел какую-то разительную, но неуловимую перемену, которая была ему не по сердцу, — и сильно попенял ему за эту перемену. Служить надобно! В Петербург, к привычной работе, как можно скорее!.. Но Батюшков — полюбил Москву!

«Я думаю, что ни один город в мире не имеет ниже малейшего сходства с Москвою. Она являет редкие противоположности в строениях и нравах жителей. Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие, постоянство дедовских времен и ветреность невероятная, как враждебные стихии, в вечном

¹ Эварист-Дефорж Парни (1753—1814) — французский поэт, родоначальник европейской любовной элегии, выдающийся представитель «легкой поэзии», литературный «учитель» Батюшкова.

² Никита Михайлович Муравьев (1796—1851) — сын М. Н. Муравьева, троюродный брат Батюшкова, руководитель Северного декабристского общества и составитель его программы.

несогласии и составляют сие чудное, безобразное, исполинское целое, которое мы знаем под общим именем: Москва».

(«Прогулка по Москве»)

6. 1810 ГОД. «ИСКУССТВО УБИВАТЬ ВРЕМЯ»

Перед отъездом на юг Гнедич долго настаивал на том, чтобы Константин уехал из Москвы, подальше от ветреных людей и вредных влияний. Батюшков согласился и уехал... в Остафьево, подмосковное имение князя Вяземского. Там летом отдыхали Карамзины, туда приехал Жуковский... Три недели встреч, литературных разговоров, отдыха и дружеских возлияний.

Через три недели Батюшков сбежал. То ли устал от ветреной жизни и от лени, то ли взыграло самолюбие и не хотелось жить на даровых хлебах хлебосольного Вяземского, то ли в порыве самобичевания вспомнил укоры Гнедича... Сам Батюшков в письме к Жуковскому объяснял, что сбежал, «потому что мне стало грустно, очень грустно в Москве, потому что я боялся заслушаться вас, чудаки мои».

В двадцатых числах июля он снова в Хантонове. Наступают веселая хандра и лень, обильно развивающиеся в одиночестве.

Сентябрь 1810 года. Гнедич, вернувшийся из своей полтавской поездки, приветствует хантоновского затворника.

Гнедич: От Авраама Ильича услышал я, что ты был болен, и будешь, если не телом, то душою: праздность и бездействие есть мать всего и, между прочим, болезней.

Батюшков: Вот что ты мне пишешь, трудолюбивая пчела!

Гнедич: Приезжай в Петербург, а здесь еще и Ниловы, и Самарины, и Гнедич, тебя любящие и жалеющие о праздных днях, которые проводишь ты бог весть где. Живя в деревне, ты скоро напишешь Гинеvру.

Батюшков: Смысл грешит против истины, первое, потому, что я пребываю не празден. В сутках 24 часа.

Из оных 10 или 12 пребываю в постеле и занят сном и снами.

1 час курю табак.

1 — одеваюсь.

3 — упражняюсь в искусстве убивать время, называемом *il dolce far niente*.

1 — обедаю.

1 — варит желудок.

1/4 — смотрю на закат солнечный. Это время, скажешь ты, потерянное. Неправда! Озеров¹ всегда провожал солнце за горизонт, а он лучше моего пишет стихи, а он деятельнее и меня, и тебя.

3/4 часа в сутках должно вычесть на некоторые естественные нужды, которые г-жа Природа, как будто в наказание за излишнюю деятельность героям, врагам человечества, бездельникам, судьям и дурным писателям, для блага человечества присудила провожать в прогулке взад и назад по лестнице, в гардероб и проч., и проч. О, *Humanité!*

1 час употребляю на воспоминание друзей, из которого 1/2 помышляю о тебе.

1 час занимаюсь собаками, а они есть живая практическая дружба, а их у меня, по милости небес, три: две белых, одна черная. P. S. У одной болят уши, и очень бедняжка трясет головой.

1/2 часа читаю Тасса.

1/2 — раскаиваюсь, что его переводил.

3 часа зеваю в ожидании ночи. Заметь, о мой друг, что все люди ожидают ночи, как блага, все вообще, а я — человек!

Итого 24 часа.

Из этого следует, что я не празден, что ты рассеянность считаешь деятельностью, ибо ты во граде святого Петра не имеешь времени помыслить о том, что ты ежедневно делаешь...

Гнедич: Я начинал думать, что ты посвятил себя вечному безмолвию, но из отзыва твоего, не весьма поспешного, ясно увидел, что ты посвятил себя совершенной праздности, ибо имеешь время читать Дидерота и вычислять, сколько нужно тебе в сутки минут для исполнения нужд естественных... Час, в который у тебя варит желудок, и полчаса, посвящаемые тобою для воспоминания обо мне, и несколько минут, определенных тобою для нужд естественных, лучше определи для того, чтобы чаще писать ко мне...

¹ Владислав Александрович Озеров (1769—1816) — поэт и драматург, пользовавшийся громкой известностью, знакомый Батюшкова по салону А. Н. Оленина.

7. 1810 ГОД. АНТИТЕЗА ПРЕДЫДУЩЕМУ

«Что значит моя лень? лень человека, который читает или рассуждает! Нет... если бы я строил мельницы, пивоварни, обманывал и исповедывал, то верно б прослыл дельным и притом деятельным человеком».

(Из письма к Гнедичу)

Осень 1810 года. Хантоново. Одиночество тяготит. Сердце жаждет деятельности. Тело остается в лени. Болезнь...

Посмотрите! в двадцать лет
Бледность щеки покрывает;
С утром вянет жизни цвет:
Парка дни мои считает
И отсрочки не дает...

(«Привидение»)

Первые две строчки этого стихотворения, написанного в 1810 году, Батюшков записал под своим автопортретом. А другое стихотворение этого же года — «Счастливец» — кончается так:

Сердце наше — кладезь мрачный:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!

Этой осенью Батюшкову особенно тяжело.

Батюшков — Гнедичу, 30 сентября 1810. Из Хантонова в Петербург: «Я подобно одному восточному мудрецу, ожидаю какой-то богини от какой-то звезды, богини, летающей на розовом листке... Что ни говори, любезный друг, а я имею маленькую философию, маленький ум, маленькое сердчишко и весьма маленький кошелек. Я покоряюсь обстоятельствам, плыву против воды, но до сих пор, с помощью моего доброго гения, ни весла, ни руля не покинул».

Батюшков болен: «ревматизм лишает силы не только размышлять, но даже и мыслить». Он страдает от безденежья и никак не может вырваться в Петербург: «легко ли ехать с малыми деньгами». А в Петербурге, между тем, по слухам, может решиться вопрос о долгожданной службе при иностранной миссии. «В Петербург на ветер или на обещания не поеду», — горестно заключает он в письме к Гнедичу.

Батюшков пытается заняться хозяйством, повысить

доходы от имений. Но это оказывается трудным делом, это тоже, оказывается, надобно уметь. А он — ученик «просветителя» М. Н. Муравьева, поклонник Дидро и Д'Аламбера, восторженный читатель «энциклопедистов». Он привык смотреть на крепостных крестьян как на равных ему людей. Ему иногда жаль их. Но жалость не прибавляет денег...

Единственное спасение и единственная деятельность — творчество.

Батюшков — Гнедичу, ноябрь 1810. Из Хантонова в Петербург: «Поверишь ли? Я здесь живу 4 месяца, и в эти четыре месяца почти никуда не выезжал. Отчего? Я вздумал, что мне надобно писать в прозе, если я хочу быть полезен на службе, и давай писать — и написал груды, и еще бы писал, несчастный!..»

«Слова поэта суть его дела» — так сказал Пушкин. Этой осенью в Хантонове Батюшков много читает, изучает и переводит Петrarку, Боккаччо, Парни, Касти, собирает переводить «Опыты» М. Монтеня для «Вестника Европы».

К осени 1810 года относится и первая из дошедших до нас записных книжек Батюшкова — «Разные замечания». Заглавие это дано В. А. Жуковским, который завел книжку в 1807 году, начал кое-что записывать, а через три года, 12 мая 1810 г., в Москве передал ее Батюшкову. Книжка эта никогда полностью не публиковалась: она была обнаружена Н. В. Фридманом в 1955 году. Такова судьба черновых, интимных поэтических записей: об их существовании часто узнают через долгие годы после смерти автора.

Записи в этой книжке — маленькие шедевры. Здесь заметки и на русском языке, и на французском, и на итальянском, и на латыни. Здесь — выписки и прозаические переводы. Здесь — маленькие заметки, которые Батюшков называл «мыслями». Мысли талантливого человека всегда необычны и современны, даже если это мысли двухсотлетней давности¹.

«Конечно, *независимость* есть благо, по крайней мере, для меня. Есть люди, которым ничего не стоит торговать своей свободой: эти люди созданы для света. А я во сто раз счастливее как бываю один, нежели в

¹ Отрывки из записной книжки «Разные замечания» приводятся по автографу: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 1.

многолюдном обществе, особенно когда я не в духе; тогда и самая малейшая обязанность для меня тягостна. Человек в пустыне свободен, человек в обществе раб; бедный еще более раб, нежели богатый...»

«Я знаю одного человека, который ежедневно влюбляется, потому что он празден. Другой же никогда влюблен не был, потому что ему недосуг. Одного почитают степенным, а другого — помешанным. Но поставьте первого на место последнего... Любовь может быть в голове, в сердце и в крови. Головная всех опаснее и всех холоднее. Это любовь мечтателей, стихотворцев и сумасшедших. Любовь сердечная менее других. Любовь в крови весьма обыкновенна: это любовь бюффона. Но истинная любовь должна быть и в голове, и в сердце, и в крови... Вот блаженство! — Вот ад!»

«Cosper, известный схоластик, говаривал о своих творениях, что они ему не стоили ни малейших усилий. Другие играли в кости, бросая их по столу; он бросал чернила на бумагу — это была его игра. Сколько у нас стихотворцев Cosper-ов!».

В этой же записной книжке сохранилось «расписание сочинениям» Батюшкова — оглавление тех, которые поэт предполагал включить в свой первый (неосуществленный) сборник. Среди них — около десяти, до нас не дошедших. Батюшков, в отличие от многих как талантливых, так и бесталанных писателей, не хранил всякий листок, им написанный, и подчас уничтожал даже очень большие свои вещи.

До нас не дошли его поэмы «Бова», «Русалка», «Вечный жид». По воспоминаниям Л. В. Давыдова, им была полностью переведена в стихах «Божественная комедия» Данте — не сохранилось ни одной терцины...

Осенью 1810 года Батюшков тоже написал большую поэму — «Песнь песней» — вариацию на известную библейскую «песнь любви». Такие вариации были довольно распространены в начале XIX века: вспомним хотя бы «Выбор из Песни песней» И. А. Крылова, «Соломон и Суламита» Г. Р. Державина и два отрывка А. С. Пушкина: «Вертоград моей сестры» и «В крови горит огонь желанья».

От поэмы Батюшкова до нас не дошло ни строки. Мы знаем, что она была полностью написана, что автор послал ее Гнедичу и Вяземскому на просмотр. Вот отрывки из переписки. *Осень 1810.*

Б а т ю ш к о в: Я почти ничего не пишу, а если пишу, то безделки, кроме «Песни песней», которую кончил и тебе предлагаю... Я избрал для «Песни песней» драматическую форму; прав или нет — не знаю, рассуди сам. Одним словом, я сделал эклогу, затем что мог совладать с этим слогом, затем, что слог лирический мне не приличен, затем что я прочитал (вчера во сне) Пифагорову надпись на храме: «Познай себя» — и применил ее к способности писать стихи.

Г н е д и ч: Ты во сне прочел надпись «Познай себя» — и наяву применил ее к *своей лени*, и кинул Тасса для того, чтобы переводить «Песни песней»?.. Ты обманываешь сам себя. Променяет ли хоть один толковый человек все твои «Песни песней» и оды на одну строфу Торквата? «Сзывает жителей подземных страны трубы ледяной рев гортанью Сатаны. — Свод звукнул, от него и мгла поколебалась». Несчастный, познай себя! Читай учение Иисуса, а не Дидерота; ты узнаешь, что проклят скрывающий талант свой.

В я з е м с к и й: «Песнь песней» сделает из тебя, как я вижу, Шишкова. Сделай милость, не связывайся с «Библиею». Она портит людей, я ее прочел нынешнее лето, и теперь уж ничему не верю¹...

Б а т ю ш к о в: Ты бранишь «Библию»... и зачем? Неужели ты меня хочешь привести в свою веру: я не Жуковский и не люблю спорить.

В я з е м с к и й: Твоя «Песнь песней» меня измучит. Скажи мне ради бога, на что это похоже, что девка, желая заманить к себе своего любовника, говорит ему, что у ней есть для него готовый шафран. Признаться, я невежа, не знаю ни обычаев, ни нравов древних и, следовательно, не могу судить об них, а мне кажется, что и тогда такое призывание было похоже на то, если б кто теперь, приглашая к себе девку на ночь, сказал бы ей: приди ко мне, у меня и «Вестник Европы», и немецкая грамматика. Впрочем, повторяю тебе признание о невежестве своем, только думается мне, что девка нынешнего века ни шафраном, ни ревенем, ни «Вестником Европы» не соблазнится.

Г н е д и ч: Твоя «Персидская идиллия»² и другие на-

¹ Неопубликованные письма П. А. Вяземского к Батюшкову здесь и далее цитируются по автографу: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28.

² Первоначальное название стихотворения Батюшкова «Источник».

печатанные с нею пиесы — «Песни песней» также, ничего более не говорят, кроме того, что ты имеешь превосходное дарование для поэзии; но такие предметы ниже тебя. Замечания на «Песни песней» прислать сейчас не могу; но ты ни прав, ни виноват, что избрал драматическую форму, ибо она избрана уже Вольтером.

Б а т ю ш к о в: Я ничего не пишу, все бросил. Стихи к черту!..

Поэма не удалась. Настроение недоброе..

И Б а т ю ш к о в продолжает:

«Я — мечтатель? О, совсем нет! Я скучаю и подобно тебе, часто, очень часто говорю: люди все большие скоты, и аз есмь человек... окончи сам фразу. Где счастье? Где наслаждение? Где покой? Где чистое сердечное сладострастие, в котором сердце мое любило погружаться?.. Все исчезло! И вот передо мной лежит на столе третий том «Espritide l'histoire» par Ferrand¹, который доказывает, что люди режут друг друга затем, чтоб основывать государства, а государства сами собою разрушаются от времени, и люди опять должны себя резать, и будут резать, и из народного правления всегда родится монархическое, и монархий нет вечных, и республика несчастнее монархий, и везде зло, а наука политика есть наука утешительная, поучительная, назидательная, и истории должно учиться и размышлять... и еще бог знает что такое! Я закрываю книгу».

Не удастся жизнь. Батюшков собирается сначала в Вологду, потом в Москву, потом на Кавказские горы... Он строит планы. Правда, иногда ему кажется, что он будет равно несчастлив везде: в деревне, в Вологде, в Москве...

8. 1811 ГОД. ДИАЛОГИ С ВЯЗЕМСКИМ

«Батюшков невысокого роста, строен и чрезвычайно приятной наружности, — читаем в неопубликованном дневнике Г. Н. Геннади, — глаза у него были чудного голубого цвета, волосы курчавы, губы довольно большие, сладострастные. Он всегда отлично одевался, любил даже рядиться и был педант в отношениях моды. Говорил

¹ Граф Антоний Ферран (1758—1825) — реакционный государственный деятель, автор ряда исторических сочинений, созданных под влиянием якобинского террора.

он прекрасно, благозвучно и был чрезвычайно остроумен...»¹

Почему-то он не умел нравиться женщинам.

Первую половину 1811 года Батюшков снова провел в Москве, где погрузился в споры, шалости и проказы большого света. На вечерах в доме П. А. Вяземского собирался весь цвет литературной и околослитературной Москвы: Жуковский, Карамзин, В. Л. Пушкин, А. М. Пушкин (Батюшков близко подружился с его женой Еленой Григорьевной), Денис Давыдов, будущий поэт-партизан, его брат Лев, поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий, композитор М. Ю. Виельгорский («гениальный дилетант», по определению Шопена) и... и... и...

Живет он по-прежнему у Е. Ф. Муравьевой и часто гуляет с Никитой и Александром. Он посещает Карамзина и присутствует при чтении отрывков из не напечатанной еще «Истории государства Российского». Он снова участвует в «блестящем каруселе»: «У нас карусель, — сообщает он Гнедичу, — и всякий день кому нос на сторону, кому зуб вон». Он танцует на многочисленных весенних балах...

Так промелькнули четыре месяца. Быстро растаяли ассигнации, с таким трудом собранные в деревне. Из Петербурга все настойчивее пишет Гнедич: куда запропастился Батюшков, почему не приезжает, почему не устраивается на службу, почему?..

Батюшков — Гнедичу, 6 мая 1811. Из Москвы в Петербург: «Я скоро еду... куда? — и сам не знаю. Но ты, мой друг, по обычаю древних, поклонись усердно моему пенату, вылей перед ним капли три помоев чайных либо кофейных, увенчай его, за недостатком дубовых листьев, листьями Анастасевичева журнала² — и может быть, я явлюсь к тебе, неожиданный гость... А пока я очень скучен, друг мой! Ах, если б ты мог читать в моем сердце!..»

«Он жил тогда на ветер», — говорил Вяземский о московском периоде жизни Батюшкова. А Батюшков — «скучен»... Вяземскому его не понять. Но ему не понять и Гнедича, ушедшего «из мира — в Гомера», в перевод «Илиады», принявшегося за двадцатилетний труд и це-

¹ ГПБ, ф. 178, ед. хр. 7. Запись-воспоминание относится к 1849 году.

² Василий Григорьевич Анастасевич (1775—1845) — плодовитый писатель и переводчик, примыкавший к «шишковистам».

ликом отдавшегося этому труду, — целиком, без остатка, несмотря на то, что понимает, «что, может быть, будет напрасно...»

В начале лета у Батюшкова кончились деньги: и снова ему не до Кавказских вод и не до Петербурга, снова не миновать родового имени. В конце июня Батюшков отправился в Хантоново.

В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Все утвари простые,
Все рухляя скудель...

(«Мои Пенаты»)

Батюшков — Гнедичу, июль 1811. Из Хантонова в Петербург: «Любезный Николай, я пишу к тебе из моей деревни, куда приехал третьего дни. Надолго ли — не знаю. Но теперь решительно сказать могу, что отсюда я боле не поеду в Москву, которая мне очень наскучила... Одним словом, я решился ехать в Питер на службу царскую. Теперь вопрос: буду ли счастлив? получу ли место? кто мне будет покровительствовать? Признаюсь тебе, я желал бы иметь место при библиотеке, но не имею никакого права на оное...»

Нет, Гнедич решительно отказывался понимать Батюшкова! Два с лишним года не может собраться в Петербург, устроиться на службу — а в каждом письме твердит о своем желании служить! Сколько было хлопот об том: и Оленин, и князь Гагарин, и... Впрочем, что говорить, когда в последний момент, когда все уже улажено было, — этот ветреник все бросал и убегал в Москву, не служить, нет — а проматывать те жалкие крохи, что завалились в его карманах, что сумел он собрать со своего заложенного и перезаложенного имени! И он еще говорит о службе! Да кто тебе в этом мешает, милостивый государь? Он пишет: нет денег! Так ведь на то и служба, чтоб деньги зарабатывать... На кой ляд просиживать в деревне, дожидаясь четырех тысяч обро-

ка? За эти деревенские полгода можно бы в Петербурге заработать еще две тысячи — а уж эти-то четыре никуда не денутся!

В канцелярии ему не служится, «между челяди, ханжей и подъячих». Он не желает быть «расставщиком кавык и строчных препинаний». Подавай ему библиотеку — как будто это так просто! Положим, Алексей Николаевич Оленин в тебе души не чаёт и устроит тебе место... Но можно ли поручиться, что через полгода тебе снова не надоест?

Нет, вы послушайте, что он пишет: «Батюшков был в Пруссии, потом в Швеции; он был там сам, по своей охоте... почему ж Батюшкову не быть в Италии?..»! Возжелал, чудак, в края Тасса, которого, между прочим, сам отказывается переводить. «Дипломатика» его, видите ли, влечет... Да эдакое местечко для неслужилого невозможно ни при каких связях: желающих слишком много. В Италию, хоть в Китай! Да что ты там делать будешь, в Китае-то? Опомнись, повеса!..

Одним словом, Гнедич решительно отказывался принимать Батюшкова и прекращал с ним всякую переписку... Впрочем, принявши на себя роль присяжного батюшковского «няньки», он не отвечал на письма только месяца два, а потом... начал хлопотать о месте в библиотеке.

А Батюшков в деревне своей необычайно (а для сестер — даже подозрительно) бодр и деятелен. Он занимается хозяйством, читает философские сочинения, пробует опять переводить с итальянского — словом, находится в том творческом настроении, когда в душе кипят необъятные творческие замыслы.

В это время у Батюшкова появляется новый друг и основной корреспондент — князь Петр Андреевич Вяземский, поэт и молодой ловелас, уже прокутивший огромное состояние, доставшееся ему по наследству. Вяземскому он пишет сейчас чаще и охотнее, чем Гнедичу. С тем приходилось пускаться в скучные рассуждения об устройстве будущей судьбы, а повеса Вяземский под статью... Впрочем, нет.

В сентябре 1811 года Вяземский решил жениться. Избранницей его была красивая и состоятельная княжна Вера Федоровна Гагарина. Княжне Гагариной предстояло стать княгиней Вяземской, и в Москве готовилось шумное торжество по этому поводу.

Осень 1811. Диалог свадебный.

Б а т ю ш к о в: Ты женишься? Я этому верю и крепко не верю... Впрочем, если б ты женился, даже вздумал сделаться монахом или издателем «Русского вестника», и тогда б я не перестал тебя любить, ибо мне любить тебя столько ж легко, сколько тебе удивлять род человеческий, живущий в белокаменной Москве...

В я з е м с к и й: Я получил, любезный друг, твое письмо, где ты веришь и не веришь, что я женюсь. Перестань колебаться и брось якорь уверения... Вот каково, Константин Николаевич, мы переходим на степень людей солидных, дескать, простите, развратные ужины, уж теперь твой друг не будет *«в забавах Геркулеса, в объятии Венер, за полночь время тратить до самого утра»*, — нет, полно! Теперь приезжай ко мне учиться нравственности и семейственным добродетелям... Свадьба моя совершится в октябре месяце, и я до приезда твоего не буду венчаться. Если не хочешь с невестой нас уморить, то советую тебе не медлить!

Б а т ю ш к о в: Если ты женат, мой любезный друг, то *повергни* к ногам княгини мое поздравление и целый короб желаний о счастье, желаний самых усерднейших, за которые ты можешь ручаться головою; скажи ей — и ты не солжешь, — что этот чудака ни к чему не годен, но он более смешон, нежели глуп; более добр, нежели глуп; что этот чудака тебя любит, как брата...

В я з е м с к и й: Жуковский будет на сих днях в Москву, неужто ты захочешь перещеголять его и прожить еще доле в деревне? Перещеголай его в стихах, в трудолюбии, позволяю, — но в этом сохрани тебя боже... Приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, — ей-богу, *не умею* сказать ничего лучшего. Прости, любезный Константин, или просто любезный, ибо я любезных Константинов, кроме тебя, не знаю ни в древней, ни в новейшей истории.

Б а т ю ш к о в: Но увы! Я поневоле должен читать моего Горация и питаться надеждою, ибо настоящее и скучно, и глупо. Я живу в лесах, засыпан снегом, окружен попами и раскольниками, завален делами...

Б а т ю ш к о в: действительно не до дружеских свадеб и не до увеселений. У него «хлопот выше ворот», как заявляет он в письме к Гнедичу. На пути встает сатана, имя которому — деньги! Платить долги, платить заклады по имению, платить ревизские, подушные, прогон-

ные... Платить за обеды, за наряды, за увеселения, за отдохновения от трудов и за сами труды... Лишь воспоминания приходят безденежно.

Друзья мои сердечны,
Придите в час беспечный
Мой домик навестить,
Поспорить и попить!..

«Мои Пенаты. Послание к Жуковскому и Вяземскому». Это хрестоматийное стихотворение Батюшкова написано осенью 1811 года в его родных «пенатах» — усадьбе Хантоново Череповецкого уезда...

Батюшков: Я и сам написал кое-что, что прошу почитать и сказать ваше суждение без всякого пристрастия. Это конец послания «К Пенатам». Поэт, то есть я, адресуется к Вяземскому и Жуковскому, но это не показывай никому, потому что еще не переправлено; переписать все лень необоримая.

Вяземский: Bravo! Bravo! стихи твои прекрасны! сожалею, что не имею начала и прошу мне его прислать. Сделаю однакож крошечные замечания. Против того, что ты называешь нас *беспечными счастливыми*, ты упрощаешь Жуковского сложить *печалей бремя* и, следовательно, ты соврал. Какому-то Вяземскому приказываешь ты *его* венчать! Кого-кого? Счастья ли? Жуковского ли? Веселия ли? Времени ли? Потом того же Вяземского называешь Аристипповым внуком. Но почему Аристиппов он внук? не знаю, вряд ли узнает и Вяземский, вряд ли узнает и кто-нибудь. Кроме сих безделиц, все прекрасно.

«Мои Пенаты» — гимн тем краям и тем веселиям, которые всегда останутся Батюшкову на худой конец, куда бы ни отправился он в своих скитаниях. Пенаты и Лары — боги-хранители домашнего очага — влекут к себе Батюшкова и водят его поэтическим пером. Старому хантоновскому дому, «хижине убогой», посвящает он это послание. Это не условно-романтический «приют», а действительная деревенская усадьба с треногим столом, скрипучими половицами и заржавевшим прадедовским клинком, висящим на стене. Место, где скуку сменяет наслаждение, а досуг — творчество. Он готов помириться со своей скромной долей под охраной домашних богов, лишь бы его не покидали друзья, вдохновение и...

И ты, моя Лилета,
В смиренный уголок
Приди под вечерок
Тайком переодета!
Под шляпою мужской
И кудри золотые,
И очи голубые,
Прелестница, сокрой!
Накинь мой плащ широкой,
Мечом вооружись
И в полночи глубокой
Внезапно постучись...
Вошла — наряд военный
Упал к ее ногам,
И кудри распущенны
Взвывают по плечам,
И грудь ее открылась
С лилейной белизной:
Волшебница явилась
Пастушкой предо мной!
И вот с улыбкой нежной
Садится у огня,
Рукою белоснежной
Склонившись на меня,
И алыми устами,
Как ветер меж листьями
Мне шепчет: «Я твоя...»

Не было этого. Батюшков сам потом признавался: «Ничего этого не было»... Но что с того, если поэт при-
вык «блаженство находить в убожестве — мечтой!»

В письме к Гнедичу от 7 ноября 1811 года Батюшков называл себя человеком, «который на женщин смотрит, как на кукол, одаренных языком, и еще язычком, и более ничем». «Я их узнал, мой друг, — пишет Батюшков, — у них в сердце лед, а в головах дым. Мало, хотя и есть такие, мало путных...» И ему остается отыскивать наслаждения не в шумных пирах и не в веселии, а в уединении с выдуманной «Лилетой» и в тихом счастье под отеческим кровом, под защитой «отеческих богов»...

Он так и не дождетсЯ этого счастья.

Впрочем, шесть месяцев 1811 года в Хантонове прошли для него в «безмолвном уединении», прошли без особенных радостей, — но и без гнетущего уныния. Утратив надежду на скорую дипломатическую карьеру, он в январе 1812 года отправился, наконец-таки, в Петербург, дабы устроиться на службу при Императорской публичной библиотеке помощником хранителя манускриптов под начало А. Н. Оленина.

Петербургская зима 1812 года была особенно снежной. На небе распласталась знаменитая комета, предвестница бурь и бедствий. У русской границы сосредоточилось войско Наполеона Бонапарта...

Впрочем, избранная нами тема заставляет нас несколько прервать повествование, ибо следующим «хантоновским» периодом в жизни поэта Константина Батюшкова был 1815 год...

9. «ЧАША ГОРЕСТИ»

«О т н о ш е н и е № 389 штабс-кап и т а н у Б а т ю ш к о в у.

Господин штабс-капитан Батюшков!

Именем его императорского величества и властью, высочайше мне вверенной, в справедливом уважении к отличной храбрости вашей в сражениях 4 сего октября под г. Лейпцигом оказанной, по засвидетельствованию генерала от кавалерии Раевского, препровождаю у сего для возложения на вас орден святыя Анны 2 класса.

Главкомандующий действующими армиями генерал-от-инфантерии М. Барклай-де-Толли.

Генваря 27 дня 1814 года»¹

Всю кампанию 1813—1814 годов Константин Батюшков состоял адъютантом при герое Отечественной войны, командире знаменитого редута на Бородинском поле, генерале Н. Н. Раевском. Он участвовал в сражении близ Теплица, в лейпцигской «битве народов». Под Лейпцигом был ранен генерал Раевский и убит друг Батюшкова Иван Петин, которого поэт сам похоронил в маленьком немецком селении и которого оплакал в стихах и в прозе...

Множество впечатлений. В Веймаре, где Батюшков провел два месяца при больном генерале Раевском, он (28 октября 1813 г.) видел Гете. На пути к французской столице он побывал в знаменитом замке Сирей, где когда-то у маркизы дю Шатле жил Вольтер, занимаясь в изгнании философией под покровительством своей прекрасной хозяйки. В побежденном Париже для победы-

¹ ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 3.

теля были открыты все двери, и Батюшков не уставал раскрывать их: двери театров, музеев, французской Академии, рестораций, веселых домов...

Но после двухмесячного пребывания в столице Франции, утомленный впечатлениями и перенесший болезнь, Батюшков пожелал вернуться на родину. Он отправился морем, предварительно посетив Лондон, где жил при русской миссии его друг Дмитрий Северин. 29 мая 1814 года Батюшков отплыл из Англии, через Швецию, — в Россию.

Сразу по приезде в Петербург он засел за литературную работу. Камергер двора и поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий упросил его написать либретто для «торжественных сцен». Ожидался приезд в столицу «вождя победителей» Александра I, и по сему случаю императрица Мария Федоровна устроила праздник в Павловске, в Розовом павильоне. Специально для праздника писалась опера на музыку Кавоса и Антанолини над названием «Сцены четырех возрастов».

Батюшков — Вяземскому, 27 июля 1814, из Петербурга в Москву: «Нелединский заставил меня писать для великолепного праздника в Павловском: дали мне программу, и по ней я принужден был нанизывать стихи и прозу; пришел капельмейстер и выбросил лучшие стихи. Уверен, что не будет эффекту, и так далее.— Пришел какой-то Корсаков, который примешал свое, пришел Державин, который примешал свое, как ты говоришь, кое-что — и изо всего вышла смесь, достойная нашего Парнасса и вовсе недостойная ни торжественного дня, ни зрителя!»¹

Праздник, однако, имел успех. Батюшков был награжден императрицею бриллиантовым перстнем, который тут же отослал в качестве свадебного подарка младшей сестре Вареньке (выходившей замуж за устюженского дворянина Аркадия Аполлоновича Соколова).

Прошли шумные дни 26—27 июля — пошла черная полоса. «Меня здесь ласкают добрые люди, я на розах как автор и на шипах как человек». Подступила горечь сомнений.

И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали
И тихо сонного домчали

¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, ед. хр. 1416, л. 67.

До милой родины давно желанных скал.
Проснулся он: и что ж? отчизны не познал.

(«Судьба Одиссея»)

Батюшков — Жуковскому, 3 ноября 1814. Из Петербурга в Белев: «Мы подобны теперь Гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному. Каждого из нас гонит какой-нибудь мститель-бог: кого Марс, кого Аполлон, кого Венера, кого Фурии, а меня — Скука. Самое маленькое дарование мое, которым подарила меня судьба, сделалось моим мучителем. Я вижу его бесполезность для общества и для себя».

Конец 1814 — начало 1815 года прошли для поэта в тягостных ожиданиях. Батюшков ждет своего генерала А. Н. Бахметева, дабы испросить разрешение на отпуск. Ждет свидания с сестрами — и страшится одиночества в деревенской глуши. Ждет писем от друзей. Ждет прилива творческого вдохновения — и начинает работу над самым большим своим произведением — сказкой «Странствователь и Домосед».

Тогда же, в начале 1815 года, Батюшков пережил свое самое страстное любовное увлечение. Оно оказалось связанным с тем домом, который поэт всего более любил и называл «приютом для добрых душ» — с домом его давнишнего друга и покровителя А. Н. Оленина.

Из дневника Анны Алексеевны Олениной: «Батюшков был всем одарен, чем может быть человек. Умен, добр, честен, благороден, учен, красноречив, разговорчив, приятной наружности, прост в обращении и совершенный gentleman...»¹

Анета Оленина, дочь Алексея Николаевича, в 1815 году была еще шестилетней девочкой (позже, в 1828 г., она станет предметом любовного увлечения Пушкина). Но рядом с нею в доме Олениных воспитывалась ее старшая подруга — тоже Анна...

Я с именем твоим летел под знамя брани
Искать иль славы, иль конца;
В минуты страстные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях;
И в мире, и в войне, во всех земных краях
Твой образ следовал с любовью за мною,
С печальным странником он неразлучен стал...

(«Воспоминания. Отрывок»)

¹ Неопубликованные дневники А. А. Олениной см.: ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 5.

Анна Федоровна Фурман (1791—1850) — единственная любовь Батюшкова, о которой мы хоть что-то знаем. О других — Эмилии Мюгель, Поповой, Леоненковой — до нас дошли лишь имена и глухие полунамеки-полуупоминания. О третьих (например, о героине «симферопольского» романа Батюшкова) мы вообще не можем сказать ничего, даже имени... А тут — известная и очень незаурядная личность.

Анна Фурман была дочерью агронома Фридриха Антона Фурмана, который в 80-х годах восемнадцатого столетия приехал из Саксонии в Россию и заведовал многими имениями крупных помещиков. Ее мать, сестра давнишнего посетителя оленинского дома Ф. И. Энгеля Эмилия, умерла, когда Анна была совсем маленькой, оставив семерых детей (Анна была третьей дочерью). Анна была взята на воспитание бабушкой — Елизаветой Каспаровной Энгель (между прочим, она воспитывалась вместе с будущим знаменитым адмиралом Ф. П. Литке, ее двоюродным братом). После смерти бабушки Анна стала воспитанницей Елизаветы Марковны Олениной — и вскоре бедная воспитанница стала украшением знаменитого петербургского салона.

Позже ее сын вспоминал: «Матушка моя присутствовала при всех этих беседах и с работою в руках прислушивалась к рассуждениям, которые так благотельно действовали на развитие ее. Несмотря на молодость свою, она уже тогда пользовалась уважением этого кружка и была, так сказать, любимицею некоторых маститых в то время старцев. Так, например, Державин всегда сажал ее за обедом возле себя, а Озеров в угоду ей подарил ей ложу на первое представление «Дмитрия Донского», сам приехал в ложу и, как говорила матушка, восторгаясь игрою известной в то время артистки Семеновой, плакал от умиления»¹.

Анну Фурман боготворил «дедушка Крылов», а Гнедич был влюблен в нее и не только руководил домашними спектаклями, где Анна играла главные роли, но даже и сватался к ней (безо всякой, впрочем, надежды). В 1809 году Батюшков замечал ему: «Выщипли перья у любви, которая состарелась, не вылетая из твоего сердца; ей крылья не нужны. Анна Федоровна право

¹ Воспоминания Ф. А. Оома. — Русский архив, 1896, т. II, № 6, с. 222.

хороша, и давай ей кадить! Этим ничего не возьмешь. Не летай вокруг свечки — обожжешься...»

Через несколько лет Батюшков сам влюбился в Анну Федоровну. В Русском музее сохранился ее акварельный портрет кисти австрийского рисовальщика Карла Гампельна. Прекрасные черные волосы, умный и глубокий взгляд светлых глаз, правильный и четкий профиль, высокая точеная фигура — из тех, что зовутся статными... По свидетельству Д. В. Дашкова, она «пленяла многих, сама того не подозревая». В ту пору ей шел 23-й год, а Батюшкову — 28-й. Мудрено ли, что в доме на Фонтанке и в приютинской усадьбе Батюшков стал постоянно встречаться с Анной? Мудрено ли, что он увлекся ею и возмечтал о тихой семейственной жизни?

Ах, как обманут я в мечтании моем!
Как снова счастье мне коварно изменило
В любви и дружестве... во всем,
Что сердцу сладко льстило...

Оленины, Муравьевы и все близкие были согласны на брак. Алексей Николаевич и Елизавета Марковна уговаривали Анну: Батюшков был тоже общий любимец и вполне достойная партия. Кажется, в какой-то момент Анна соглашалась с ними. Но...

Всего ужаснее! Я видел, я читал
В твоём молчании, в прерывном разговоре,
В твоём унылом взоре,
В сей тайной радости потупленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей
Следы сердечного терзанья...

(«Воспоминания. Отрывок»)

Свадьба не состоялась. Не было взаимности, а была лишь минутная покорность чужой воле. Батюшков понял это. Да и сомнения мучили: может ли он сделать счастливой любимую женщину, имея «небольшое состояние и скверный характер»... Крушение любви отозвалось сильным нервным расстройством.

Елизавета Марковна, как могла, успокаивала поэта, старалась помочь ему и Е. Ф. Муравьева, любившая Батюшкова как родного сына... О любви Батюшкова до нас дошло несколько проникновенных стихов поэта: «Воспоминания. Отрывок», «Пробуждение», «Мщение», «Таврида»... И знаменитая элегия «Мой гений», много-

кратно перелавившаяся на музыку и ставшая одним из проникновенных русских романсов. Не решаясь прямо признаться в любви Анне Фурман, Батюшков изливает свои чувства в стихотворных строках:

О память сердца! ты сильнее
Рассудка памяти печальной,
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальней.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов...

Это стихотворение-воспоминание было написано уже в Каменце-Подольском.

Первые две строки его очень скоро стали крылатыми. Когда в 1828 году младшая подруга Анны Фурман А. А. Оленина захотела осмыслить свое увлечение Пушкиным, она начала свои записки этими строками...

Жизненная судьба Анны Фурман сложилась несчастливо. В том же 1815 году она, по настоянию отца, должна была переехать в Дерпт для воспитания младшей сестры. В 1821 году в Ревеле она вышла замуж за богатого остзейского дворянина Адольфа Оома, который вскоре после женитьбы разорился, и в 1824 году вместе с женой переехал в Петербург. Там он, по протекции Оленина, получил место надзирателя при воспитанниках Академии художеств. Во время петербургского наводнения 1824 г. А. А. Оом простудился, стал хворать и в феврале 1827 г. умер. Анна осталась вдовой с полугодовалым сыном Федором на руках и без каких-либо средств к существованию. По просьбе того же Оленина она была определена главной надзирательницей Петербургского Воспитательного дома и осуществляла попечение за 300 воспитанницами. Она очень преуспела в педагогической работе. Через десять лет Воспитательный дом был обращен в Сиротский институт, количество воспитанниц увеличилось, а Анна Федоровна Оом стала директрисой института... Батюшков был одним из самых светлых ее воспоминаний.

Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

10. ПУШКИН И БАТЮШКОВ. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Батюшков бывал в доме московского дворянина Сергея Львовича Пушкина еще летом 1810 года, но вряд ли тогда обратил внимание на одиннадцатилетнего курчавого мальчугана. Он сблизился с его дядей, поэтом Василием Львовичем Пушкиным.

К 1815 году мальчуган подросток и начал писать стихи: он учился в Царскосельском лицее у знакомых Батюшкову преподавателей и усердно печатался в «Вестнике Европы». На лицейском экзамене в январе 1815 года он заслужил восторги Державина...

Вяземский — Батюшкову, февраль 1815. Из Москвы в Петербург: «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? чудо и все тут. Его «Воспоминания <в Царском селе>» скружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражении, какая твердая и мастерская кисть в картинах. Дай бог ему здоровья и учения, и в нем будет прок. Задавит, каналья! Василий Львович однако же не поддается и после стихов своего племянника, которые он всегда прочтет со слезами, не забывает никогда прочесть и свои, не чувствуя, что по стихам он племянником перед тем. Прости, мой милый и сердечный друг; люблю тебя сердечно, несмотря на то, что ты Федул-губы-надул, что ты лезешь в фанатики, что ты злишься и далеко от меня...»

О взаимоотношениях Батюшкова и Пушкина существует достаточно большая специальная литература. Этому вопросу посвящали исследования известнейшие пушкинисты: Л. Н. Майков, М. О. Гершензон, Б. В. Томашевский и ряд других¹. Но много вопросов так и осталось неясными...

Когда Батюшков и Пушкин впервые встретились?

Приведем отрывки из самых разных книг.

Л. Н. Майков. Из статьи «Пушкин о Батюшкове»: «Очень вероятно, что Батюшков присутствовал, в январе 1815 года, на том публичном лицейском экзамене, на котором юноша Пушкин привел в восторг Державина».

¹ См.: Майков Л. Н. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, с. 284—317. Гершензон М. Статьи о Пушкине. М., 1926, с. 18—30; Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества Пушкина, т. 1. М., 1951 (по указ.); Томашевский Б. Пушкин, кн. 1. М.—Л., 1956 (по указ.); «Временник Пушкинской комиссии», 1962, с. 29—32; 1972, с. 16—35; 1976, с. 5—14, 24—45, 147—156 и др.

Б. Л. Модзалевский. Из комментария к 1 тому «Писем» А. С. Пушкина: «...Их личное знакомство состоялось в конце 1814 или в январе 1815 года, когда Батюшков проживал в Петербурге, из которого выехал в начале февраля».

Ю. Н. Тынянов. Из романа «Пушкин»: «Прошлым летом (летом 1815 года.—В. К.) забрел в Лицей и спросил Пушкина отставной поручик Батюшков¹... На нем была бедная одежда: серая военная куртка, картуз. Он грустно и растерянно смотрел темно-серыми глазами на Александра и ничем не напоминал ленивца, мудреца, любовника, которым был в стихах, больше всего понравившихся».

В. В. Дементьев. Из очерка «Питомец муз»: «Перед отъездом на юг (в начале июня 1815 г. — В.К.) Константин Батюшков сумел побывать в Царском Селе: целый день он провел вместе с лицеистом Пушкиным — друзья бродили по окрестным рощам, обедали в кухмистерской, сочиняли шуточные вирши».

Последние две версии: о встрече Батюшкова и Пушкина летом 1815 года — придется сразу же отвести. Батюшков выехал из Петербурга в Хантоново в середине февраля, а «перед отъездом на юг» (выехал из Хантонова 8 июня) не мог быть в Петербурге, ибо ехал в Каменец-Подольский через Москву и Киев (прибыл в Каменец-Подольский 10 июля), а позже, до 24 августа 1817 года, в Петербурге не появлялся.

Первая версия также несостоятельна, хотя бы потому, что известность Батюшкова в лицее была довольно распространена и присутствие его на знаменитом экзамене, прославившем юношу Пушкина, не прошло мимо внимания мемуаристов, оставивших подробные воспоминания об этом эпизоде (сам Пушкин, И. Пущин, В. Гаевский, Я. Грот).

На более точную дату знакомства Пушкина и Батюшкова указал М. А. Цявловский в «Летописи жизни и творчества Пушкина». Он рассуждал так. В письме Пушкина к П. А. Вяземскому от 27 марта 1816 года (втором из дошедших до нас писем Пушкина) есть фраза: «Обнимите Батюшкова за того больного, у которого

¹ Неточность: в это время Батюшков был не «отставным поручиком», а находившимся на службе штабс-капитаном.

год тому назад завоевал он Бову-королевича». Эта фраза свидетельствует о том, что Батюшков навещил захваченного Пушкина в начале 1815 года. Пушкин в это время болел дважды: 3—5 февраля (простуда) и 31 марта — 2 апреля (ушиб руки). Если же учесть обстоятельства жизни Батюшкова, то становится достоверной первая, февральская его встреча с Пушкиным, которая состоялась в царскосельском лазарете (находившемся на первом этаже Лицея.)

Этой встрече предшествовало послание Пушкина к Батюшкову («Философ резвый и пиит»), написанное летом 1814 года и в конце того же года опубликованное в журнале «Российский музеум». Пушкин высказывает преклонение перед поэтическим талантом Батюшкова:

Не слышен нам Парни российский,
Пой, юноша! Певец тиисский
В тебя влиял свой нежный дух,
С тобою твой прелестный друг,
Лилета, красных дней отрада:
Певцу любви любовь награда...

Пушкин, действительно, очень ценил своего поэтического учителя. Б. В. Томашевский проанализировал знаменитые пушкинские «Воспоминания о Царском Селе», читанные на лицейском экзамене 8 января 1815 года в присутствии Державина и сделавшие Пушкина знаменитым (через неделю, 15 января, их в Москве, в литературных салонах, с восторгом читал Жуковский!), и отметил, что отголоски «лиры Державина», о которых традиционно говорили исследователи, там невелики — но зато налицо влияние Батюшкова.

Строфа пушкинских «Воспоминаний...» (редкая в русской литературе) аналогична строфе Батюшкова в его исторической элегии «На развалинах замка в Швеции». Сравните:

Пушкин

Навис покров угрюмой ночи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почил дол и роши,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в серебристых облаках.

Б а т ю ш к о в

Уже светило дня на западе горит
И тихо погрузилось в волны.
Задумчиво луна сквозь тонкий пар глядит
На хляби и брега безмолвны,
И все в глубоком сне поморие кругом.
Лишь изредка рыбарь к товарищам зовет;
Лишь эхо глас его протяжно повторяет
В безмолвии ночном.

Если искать фразеологических совпадений («отзвуков лиры») пушкинского стихотворения со стихами Батюшкова, то они — на каждом шагу: об этом писали, помимо Томашевского, П. О. Морозов, В. В. Виноградов, Д. Д. Благой, Н. В. Фридман и др. Сравним у Пушкина:

И там, где роскошь обитала
В тенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах...

У Батюшкова (послание «К Дашкову», 1813):

И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, —
Лишь угли, прах и камней горы...

Или еще ряд не менее интересных совпадений пушкинских «Воспоминаний» со стихами Батюшкова:

Пушкин
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в серебристых облаках.

Б а т ю ш к о в
Наш лебедь величавый,
Плывешь по небесам...
(«Мои пенаты»)

Пушкин
Там в тихом озере плескаются наяды...

Б а т ю ш к о в
Наяды робкие, всплывая над водой,
Восплещут белыми руками...
(«Послание к Виельгорскому»)

Пушк и н

Над твердой, мшистой скалой...

Б а т ю ш к о в

Твердыни мшистые с гранитными зубцами...

(«На развалинах замка в Швеции»)

Так что восторженный (может быть, и неумеренно) отзыв Пушкина здесь вполне объясним и понятен. Еще Белинский справедливо заметил: «Как ни много любил он поэзию Жуковского, как ни сильно увлекался обаятельностью ее романтического содержания, столь могущественною над юною душою, но он нисколько не колебался в выборе образца между Жуковским и Батюшковым... Влияние Батюшкова обнаруживается в «лицейских» стихотворениях Пушкина не только в фактуре стиха, но и в складе выражения, и особенно во взгляде на жизнь и ее наслаждения. Во всех их видна нега и упоение чувств, столь свойственные музе Батюшкова: и в них проглядывают местами унылость и веселая шутливость Батюшкова».

Таковы стихотворения «К молодой вдове», «Князю А. М. Горчакову», «Воспоминание», «Послание к Галичу» и много других. А стихотворение «Городок» написано Пушкиным прямо в подражание «Моим Пенатам»...

Как видим, при знакомстве Пушкина и Батюшкова разговор их мог быть чрезвычайно интересным. Тем более, что Батюшков был фактически первым из «молодых» поэтов, познакомившихся с Пушкиным (не считая, конечно, его дяди Василия Львовича). Он навестил Пушкина-лицейста задолго до Жуковского и Вяземского (Жуковский — 18 сентября 1815 года, Вяземский — 16 марта 1816 года).

Жуковский — Вяземскому, 19 сентября 1815. Из Петербурга в Москву: «Я сделал еще приятное знакомство! с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Царском Селе. Милое живое творенье! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет...»

К сожалению, об обстоятельствах первой встречи Пушкина и Батюшкова до нас не дошло ничего... Мы

можем лишь предположить, что больной Пушкин во время этого разговора «уступил» своему старшему поэтическому собрату сюжет начатой им в Лицее поэмы «Бова» (Батюшков довольно много, как это явствует из писем его, работал над этой поэмой в 1815—1816 годах, хотя, вероятно, не дописал).

Мы можем сделать еще одно смелое предположение...

В 1937 году известный искусствовед, переводчик и критик А. М. Эфрос подготовил к печати книгу «Портреты А. С. Пушкина». В 1979 году был опубликован (во «Временнике Пушкинской комиссии») отрывок из нее: «Портрет Пушкина, рисованный К. Н. Батюшковым». Здесь высказана очень любопытная гипотеза. В 1822 году к изданию пушкинской поэмы «Кавказский пленник» (издателем был Н. И. Гнедич) был приложен портрет Пушкина-лицеиста, сейчас достаточно известный. Пушкину на нем около шестнадцати лет, он изображен в свободной позе, подперев щеку рукой, и в домашней рубашке.

Портрет был гравирован молодым гравером Егором Гейтманом — но кто был автором рисунка, который Гейтман переводил в гравюру? В качестве такового назывались несколько художников, в том числе Карл Брюллов и лицейский учитель рисования С. Г. Чириков. В 1928 году был найден искомый живописный портрет (хранится во Всесоюзном музее А. С. Пушкина), отличающийся, как отмечает Эфрос, «дилетантизмом техники и реализмом подробностей». Анализируя манеру письма и ряд косвенных данных, исследователь приходит к выводу, что самым вероятным автором портрета был К. Н. Батюшков, который, как известно, был весьма неплохим рисовальщиком¹, что портрет был, вероятно, писан с натуры и, скорее всего, в 1815 году...

Наконец, результатом первой встречи Пушкина и Батюшкова явилось второе послание Пушкина («В пещерах Геликона...»), которое является отголоском какого-то литературного спора:

А ты, певец забавы
И друг пермесских дев,
Ты хочешь, чтобы славы
Стезю полетев,

¹ См. об этом ниже главу «Рисунки поэта».

Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавой пир.

Батюшков к 1815 году пытался преодолеть эпикурейское миросозерцание прежних лет и упорно искал новых мотивов для поэтического творчества. Поэтому он страстно советовал друзьям разрабатывать средствами поэзии более возвышенные задачи, чем только страстные гимны любви и красоте. Он настаивал на том, чтобы Жуковский принял, наконец, за поэму о Владимире Святом, а юноше Пушкину, вероятно, посоветовал посвятить свой талант важной эпопее. Пушкин ответил со свойственной ему искренностью, несколько вызывающе и весьма знаменательно:

Дано мне мало Фебом:
Охота — скудный дар;
Пою под чуждым небом
Вдали домашних Лар,
И, с дерзостным Икаром
Страшась летать не даром,
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.

Пушкин действительно «остался при своем» и стремительно шагнул вперед, обгоняя и друзей-поэтов, и своих современников... Они встретились с Батюшковым вновь уже в конце лета 1817 года и... Впрочем, эти отношения уже выходят за рамки «хантоновской хроники»¹.

А в феврале 1815 года, через несколько дней после знакомства с Пушкиным, Батюшков уехал в Хантоново.

11. 1815 ГОД. «СТРАНСТВОВАТЕЛЬ»

В Хантонове Батюшкова ожидала трогательная встреча с сестрой Александрой, которая всячески старалась утешить «блудного» брата после всех забот и дальних странствий. Через несколько дней после приезда он отправился в Даниловское, где застал отца «в горестном положении»: Николай Львович болел, хозяйственные дела были в совершенном расстройстве. «Я

¹ См. об этом: Цявловский М. А. Летопись... с. 6, 61, 73, 134, 138—139, 147, 150, 163, 165 и др.

был у батюшки... Шесть дней, которые провел у него, измучили меня»...

Да и в Хантонове хозяйство идет не лучшим образом, и сразу по приезде Батюшков погружается в денежные хлопоты.

Батюшков — Гнедичу, июнь 1815. Из Хантонова в Петербург: «Заплати деньги по займу в ломбарде за старое имение, сколько причтется. Если что-нибудь останется, то удержи у себя; я отпишу тебе, что с этим делать...»

Батюшков — П. А. Шипилу, июнь 1815. Из Хантонова в Вологду: «...Деньги право нужны. Из сего числа дай сто рублей Третьякову за его труды; остальные немедленно отправь к Гнедичу; остальные, я полагаю, 900, да 100 еще прибавь оброку с Межков, если хочешь; итого составит 1000. Всю сию сумму через Гнедича для уплаты князю Гагарину... Я согласен дать Сирякову вексель хотя в двух тысячах на два года или на три. Ты дай за меня, по моему верующему письму, или я пришлю, если хочешь. Только бы кончить это проклятое дело, которое у меня лежит на сердце»¹.

Старые долги И. А. Гагарину, какому-то Сирякову, — и деньги, которых нет. В апреле 1815 г. Батюшков заложил свои вологодские имения (за 4 тысячи), потом перезаложил их — и никак не мог выпутаться из «проклятых дел» и освободиться от призрака грядущей нужды.

Неожиданно для себя он ощутил новое чувство: поэт страдал от того, что оторван от словесности, от друзей-литераторов, от милых жизненных привычек. Он как бы впервые ощутил бремя «писательства» и прямо-таки пристает к друзьям: пишите о литературных новостях, они — «единственное сокровище»... Вяземский посылает ему на суд стихотворение «К подруге», и Батюшков, изменяя всегдашним привычкам, дает подробный письменный разбор послания Вяземского, отмечая все недостатки и просчеты. Вяземский при переработке стихотворения воспользовался почти всеми указаниями Батюшкова.

В этом письме Батюшков обронил характерную фразу: «Я говорю, что ты здесь в первый раз поэт и не гоняешься за умом...» Как тут не вспомнить позднейшее

¹ Письмо Батюшкова к Шипилу не опубликовано: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 20. О Шипиле см. главку «Вологодский родственник Батюшкова».

замечание Пушкина: «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата!»! В начале 1815 г. Батюшков создал яркий образец такой поэзии: простой, лукавой — и очень мудрой, если разобраться.

Объехав свет кругом,
Спокойный домосед, перед моим камином,
Сижу и думаю о том,
Как трудно быть своих привычек властелином;
Как трудно век дожить на родине своей
Тому, кто в юности из края в край носился,
Все видел, все узнал, — и что ж? из-за морей
Ни лучше, ни умней
Под кров домашний воротился:
Поклонник суетным мечтам,
Он осужден искать... чего — не знает сам!

(«Странствователь и Домосед»)

Жуковский — А. П. Елагиной, 11 июня 1815. Из Петербурга в Белев: «Батюшкова здесь нет; я его не видел, он запропастился в деревне. Нового не написал он почти ничего. Есть одна прекрасная повесть: «Домосед и Странствователь», писанная слогом прелестным, хотя немного длинная. Пришлю, когда будет у меня список».

Батюшков писал Вяземскому, что темой для его произведения (самого большого по объему из всего батюшковского наследия) послужил стих И. И. Дмитриева «Ум любит странствовать, а сердце жить на месте», а в другом письме к нему же отмечал автобиографичность сказки. «Странствователь и Домосед» — это ответ на знаменитое стихотворение Жуковского «Теон и Эсхин». У Жуковского Эсхин; изнуренный прожиганием жизни и долгими скитаниями по свету, находит успокоение в смиренном домике своего друга Теона, который нигде не странствовал, а смысл человеческого бытия искал в себе, во внутреннем совершенствовании, а не в окружающем мире. У Батюшкова Филалет (Странствователь), испытав, подобно Эсхину, много горя и неудач, все-таки не мог прожить больше пяти дней в смиренном домике своего брата.

Это — сам Батюшков. Филалет, восхотевши «славен быть», решил стать знаменитым философом и уехал учиться в дальние края. Из Египта он был изгнан, потому что не мог удержаться от зевания при поучениях жрецов, «и псу священному — о ужас! — наступил на божескую лапу». Из Кротона — потому что не мог вы-

держат испытания голодом и не мог понять, зачем это. Его ограбили, и он чуть не умер в пустыне. Он научился у некоего мудреца Памфила мысли о том, что «всё — призрак», и пошел проповедовать эту глубокую мысль на площади Афин, за что был с позором и с побоями изгнан... Но тут его спас Клит, брат его, который нашел счастье и наслаждение в тихой жизни, в уютном домике, с прекрасной женой... Казалось бы, конец должен быть тот же, что в стихотворении Жуковского. Но...

А дней через пяток, не боле,
Наскуча видеть все одно и то же поле,
Все те же лица всякий день,
Наш грек — поверите ль? — как в клетке стосковался...

Это — сам Батюшков. Он, как Филалет, слонялся по свету, и во всем свете не нашел ничего ни умного, ни доброго, ни истинно нужного. Он был в Германии, в Швеции, во Франции, в Англии, позже — в Италии, — и отовсюду возвращался несчастлив, болен, неудовлетворен! И во всех краях скитаясь, он рвался домой. Но и дома не мог прожить долго, и через несколько месяцев рвался опять в скитания по градам и весям, и опять домой, и опять... И не было у него дома. «Ничего не хочу, и мне все надоело. Жить дома и садить капусту я умею, но у меня нет ни дома, ни капусты: я живу у сестер в гостях, и домашние дела меня замучили...» Это уже не грек Филалет, это — сам Батюшков.

Брат милый, воротись, мы просим, ради бога!
Чего тебе искать в чужбине? новых бед?
Откройся, что тебе в отечестве не мило?
Иль дружество тебя, жестокий, огорчило?
Останься, милый брат, останься, Филалет! —
Напрасные слова — чудак не воротился —
Рукой махнул... и скрылся.

Если герой Жуковского уповает на мистический, внеположный реальному, мир, то герой Батюшкова, вторгаясь в «век железный» действительности, не находит себе пристанища даже и в мечте...

А Вяземский из Москвы пишет: «Я у тебя спрашиваю: будешь ли сюда, — ты мне на это ни слова! Ни слова также о том, что делаешь, что будешь делать? Останешься ли в службе, и у кого ты, у Раевского ли или у Бахметева? Бахметев здесь, в Москве, и едет в Каменец-Подольск, — неужели и ты с ним?..»

Генерал Алексей Николаевич Бахметев, адъютантом которого служил Батюшков в 1815 году, был герой Отечественной войны, лишившийся в Бородинском сражении правой ноги. Назначенный генерал-губернатором Бессарабии, он требовал Батюшкова к себе. Вопрос о переводе Батюшкова в гвардию все никак не решался — это причиняло беспокойство и уязвляло самолюбие. Деревня томила и не могла заглушить душевной тоски. Он не хочет уходить в отставку без повышения. Чтобы иметь средства и хоть как-то сводить концы с концами, надобно служить. Следовательно, — ехать в Каменец-Подольский...

Батюшков — Е. Ф. Муравьевой, 6 июня 1815. Из Хантонова в Москву: «Я еду в Каменец послезавтра, если что не воспрепятствует. Остаться здесь более невозможно. Будущей моей судьбы не знаю; знаю только, что мое здоровье совершенно расстроено. Надежда вас увидеть меня поддерживает. Мы живем не в такие времена, чтобы думать о счастии и спокойствии...»

8 июня 1815 года Батюшков покорно и не без надежд поехал к новому месту службы, хотя умом прекрасно понимал, что жизнь на жарком юге, в душной и глухой провинции, не доставит ему ни радости, ни удач.

С какую радостью ступил на брег отчины!
Здесь будет, — я сказал, — душе моей покой,
Конец трудам, конец и страннической жизни.
Ах, как обманут я в мечтании моем!
Как снова счастье мне коварно изменило
В любви и дружестве... во всем,
Что сердцу сладко льстило,
Что было тайною надеждою всегда!
Есть странствиям конец — печалям никогда!

(«Элегия. 1815»)

А. Ф. Вельтман. Из «Воспоминаний о Бессарабии»: «В Кишинев русская поэзия еще не доходила. Правда, там, за несколько лет до меня, жил Батюшков; но круг военных русских его времени переменился; с переменой лиц и память об нем опять исчезла; притом же он пел в тишине, и звуки его не раздавались на берегах Быка».

Через два месяца пребывания в Бессарабии, не получив ни повышения, ни удовлетворения, ни отдыха, Батюшков запросился в отставку...

Батюшков — сестре Александре, 23 декабря 1815. Из Каменец-Подольска в Хантоново: «Я еду в Москву и

останусь там месяца два, ибо генерал дал мне бумагу для поручения его в Москве оставаться, и я об этом пишу к батюшке. Ранее весны я не могу быть у вас. Подал просьбу в отставку, но она не ранее, как через несколько месяцев выйдет...»

Вечером 26 декабря Батюшков выехал из Каменца и, встретив по дороге новый, 1816 год, благополучно прибыл в Москву в начале января. Там он остановился у И. М. Муравьева-Апостола (писателя и отца трех будущих декабристов), который принял его весьма дружелюбно. После шестимесячного пребывания в провинции он с головой уходит в жизнь шумного общества, возобновляет все светские и литературные знакомства, хотя и остается строг в выборе друзей: Вяземские, Карамзины, Пушкин, И. И. Дмитриев... Последнего он в шутку называет «экс-министром и экс-поэтом», — но тот не обижается и, при всей видимой важности своей, остается к Батюшкову чрезвычайно любезен.

26 февраля Батюшков и Жуковский были приняты в члены университетского Общества любителей российской словесности. Жуковский был принят заочно, и Батюшков не преминул сообщить ему в Петербург: «Я знаю, что ты не будешь спать от радости: ты член здешнего Общества. Есть надежда, милый друг, что мы попадем в Академию».

Правда, еще раньше, 14 октября 1815 года, Батюшков был сам заочно избран в куда более веселое и деятельное петербургское общество «Арзамас», к которому относился совершенно в духе заседаний этого общества: с беспечной шуткой и легкой иронией. На письме В. Л. Пушкина в «Арзамас» от 23 апреля 1816 года сохранился отпечаток батюшковской пятерни с припиской ее обладателя: «За неумением грамоте член «Арзамаса» Ахилл пять пальцев приложил». «Ахилл быстроногий» — его «арзамасская» кличка, которую «собратья» переделывали на свой лад: Ах! хил... Впрочем, и без этой переделки она очень подходила к Батюшкову, ибо, как писал Жуковский,

. Ахилл по привычке
Рыщет и места нигде не согреет...

Военная служба все более тяготит новоявленного Ахилла, и даже долгожданный перевод в гвардию не радует его. Зачисленный в знаменитый Измайловский

полк, он мечтает вовсе оставить военную службу: «Желаю быть надворным советником и по болезни служить музам и друзьям, отслужив царю на поле брани», — так пишет он А. И. Тургеневу.

Вопрос об отставке решается медленно, и Батюшков не может ни выехать из Москвы, ни устроиться куда-то на службу. В письмах к сестре он к тому же постоянно жалуется на здоровье: у него «лихорадка», он «опасается чахотки», у него «болезнь в раненой ноге», «ревматизм» и прочая и прочая... В письме сестре он с горечью сознается: «Устроить мои дела не умею и не могу».

Наконец, в апреле 1816 года, приходит отставка: Батюшков уволен из армии в чине коллежского асессора. «Конечно, невыгодно, но я к этому привык. Неудачи по службе — это мое. Слава богу, что отставлен...»

Меня преследует судьба,
Как будто я талант имею!
Она, известно вам, слепа;
Но я в глаза ей молвить смею:
Оставь меня, я не поэт,
Я не ученый, не профессор;
Меня в календаре в числе счастливых нет,
Я... отставной асессор!
(Из письма к В. Л. Пушкину, март 1817)

12. 1817 ГОД. «ОПЫТЫ»

«Аттестат № 336 от 20 января 1817

Лейб-гвардии Измайловского полка штабс-капитану (уволенному от военной службы коллежским асессором) и кавалеру Батюшкову в том, что находясь он при мне адъютантом, исправлял свою должность с отличным усердием и даваемые ему по службе многие поручения исполнял с примерной деятельностью и расторопностью; посему, отдавая ему, г. Батюшкову, совершенную признательность, и приятным долгом поставляю сим свидетельствовать как о весьма достойном и отличном штаб-офицере.

Дан за подписанием моим и приложением герба моего печати в городе Кишиневе Бессарабской области.

Бахметев.

Генваря 20 дня 1817 года»¹

¹ ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 4.

Батюшков из-за болезней задержался в Москве до зимы, но уехал с первым санным путем, в конце декабря, и, где-то по дороге встретив еще один Новый год, в начале января прибыл, наконец, в Хантоново. Это был последний приезд его в родные Пенаты.

Сестра Александра ухаживала за больным отцом в Даниловском, и Батюшкова окружила лютая зима и совершенное одиночество... Впрочем, в письмах он жалуется только на холод:

От стужи весь дрожу,
Хоть у камина я сию.
Под шубою лежу
И на огонь гляжу,
Но все как лист дрожу,
Подобен весь ежу,
Теплом я дорожу,
А в холоде брожу
И чуть стихами ржу.

*(Из письма к
П. А. Вяземскому,
январь 1817)*

Одиночества для Батюшкова будто не существует: в это время он особенно настойчиво берется за литературу. Такова уж была главная черта его душевного облика: страдая от безлюдья в шумной толпе, он удовлетворялся общением, оказавшись на необитаемом острове.

Стихи как женщины: нам с ними ли расстаться?..

(«Послание к стихам моим»)

Потребность творчества растет все сильнее. Даже нездоровье, даже хозяйственные хлопоты не отвлекают: к ним Батюшков привык, и на фоне неудач последних лет болезни и безденежье не кажутся чем-то страшным. Он намеревается на этот раз прожить в деревне безвыездно, по крайней мере, до конца весны: «во спасение души, тела и кармана».

Батюшков — Вяземскому, 14 января 1817. Из Хантонова в Москву: «Недавно приехал в мою деревню и не успел еще оглядеться. Все разъезжал семо и овамо. Теперь начинаю отдыхать, раскладываю мои книги и готовлю продолжительное рассеяние от скуки, то есть какое-нибудь занятие. Если здоровье позволит, то примусь за стихи. Переправляя старые, я почти всеми недоволен...»

В записной книжке сохранился краткий подсчет книг, привезенных Батюшковым в Хантоново:

«В трех ящиках книг: в 1-м — 170

2	—	61
3	—	6
		<hr/>
		291»

(Сосчитано неверно, но именно так в подлиннике!)

Никогда еще Батюшков не работал и никогда больше не будет работать с таким напряжением и с такой увлеченностью, как этой зимой и весной, во время последнего пребывания в Хантонове.

В Петербурге Гнедич приступил к изданию первого сборника Батюшкова «Опыты в стихах и прозе». Поэт очень долго думал над первым своим сборником и долго не решался его выпустить. К этому побуждали его друзья, но только успех сборника Жуковского (2 части, 1815—1816 гг.) заставил Батюшкова заняться обобщением своего творчества. Не имея времени и средств издавать сборник и не доверяя профессиональным издателям, он упросил взяться за это нелегкое предприятие все того же верного и опытного Гнедича, вполне полагаясь на дружеское понимание и художественный вкус «предложителя Гомера». К концу 1816 года был подготовлен том прозы — и теперь предстояло приняться за стихи...

Издание шло хорошо. По предварительной подписке на второй том (стихов) записалось 183 человека — по тем временам внушительная цифра. «Опытов...» ждали, ждали чего-то нового...

А Батюшкова терзает неуверенность в успехе. Он глубоко не удовлетворен и прозой, и стихами. Он полон робости и, порой, отчаяния. Иногда мелькает надежда... Вот отрывки из его писем к Гнедичу:

— «Здоровье плохо, очень плохо, но я тружусь и исполню обещанное, пришлю стихи. Портрета никак! На место его — виньетку, на место его — «Умиравшего Тасса», если кончить успею (сюжет прекрасный!), «Омира и Гезиода», которого кончил, и сказку «Бальядеру», которая в голове моей. Начни с прозы. Стихи после печатай; выпусти все вдруг, без шума, без похвал, без артиллерии, бога ради!»

— «Дряни не печатай. Лучше мало, да хорошо. И то половина дряни».

— «Дряни, ой, как много! Вяземский у вас теперь. Он обещал взглянуть на издание. Посоветуйся с ним. Я знаю его: он без предрассудков, и рука у него не дрогнет выбросить дрянь».

— «На портрет ни за что не соглашусь. Это будет безрассудно. За что меня огорчать и дурачить? Но другие... Пусть другие делают что угодно: они мне не образец. Крылов, Карамзин, Жуковский заслужили славу: на их изображение приятно взглянуть. Что в моей роже? Ничего авторского, кроме носа крючком и бледности мертвеца: укатали бурку крутые горки!»

— «Ах, страшно! Лучше бы на батарею полез, выслушал всего Расина-Хвостова и всего новорожденного Оссиана, нежели вдруг, при всем Израиле, растянуться в лавках Глазунова, Матушкина, Бабушкина, Душина, Свешникова, и потом — бух!.. в знакомые подвалы...»

Колебания Батюшкова продолжались до последнего момента. Каждой почтой он отправляет Гнедичу письмо, в котором приводит список вещей, которые надо «непреремненно выкинуть», «ради бога выкинуть»... Уже когда часть тиража была сброшюрована, по распоряжению автора были вырезаны эпиграммы «Известный откупщик Фаддей», «Теперь, сего же дня», «О хлеб-соль русская» и стихотворение «Отъезд», а монументальные элегии «Переход через Рейн» и «Умиравший Тасс» попали в самый конец сборника...

Но в тех же письмах Гнедичу, среди колебаний и сомнений, Батюшков уже осознанно утверждает свою поэтическую самостоятельность и творческую зрелость: «Что до меня касается, милый друг, то я не люблю преклонять головы моей под ярмо общественных мнений. Все прекрасное мое — мое собственное. Я могу ошибаться, ошибаюсь, но не лгу ни себе, ни людям. Ни за кем не брожу: иду своим путем. Знаю, что это меня недалеко поведет, но как переменить внутреннего человека?» И еще: «Нет покоя! Такой ли бы том отпустил стихов?..»

Из всего наследия своего он отбирает 52 стихотворения (только до нас дошло более 160), их перерабатывает, перекраивает, меняет, подчас переписывает заново («Мечту», например). Он делит «Опыты в стихах» на три раздела: «Элегии», «Послания» и «Смесь» (в этом разделении Батюшкову подражали многие поэты, даже Пушкин). Он располагает стихи не в хронологическом и не в тематическом порядке, а как

Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья;
Заботы, суеты, печали прежних дней,
И легкокрылы наслажденья;
Как в жизни падал, как вставал;
Как вовсе умирал для света,
Как снова мой челнок фортуне поверял...

Он уподобляет свой сборник «журналу» (дневнику). Это смена и событий, и настроений, и удач, и неудач, и...

Наш друг был часто легковерен;
Был ветрен в Пафосе, на Пинде был чужак;
Но дружбе он зато всегда остался верен;
Стихами никому из нас не докучал
(А на Парнасе это чудо!)
И жил так точно, как писал...
Ни хорошо, ни худо!

(«К друзьям»)

Именно по книге «Опытов» узнал Батюшкова читатель.

Наконец, в Хантонове он пишет и две «автобиографичные» элегии: «Гезиод и Омир — соперники» и «Умиравший Тасс» — самые зрелые и самые трагичные из всего сборника. Тема у них одна: судьба поэта в обществе, сопоставленная с судьбой самого Батюшкова и решенная на образах великих художников прошлого.

В первой элегии — это бездомный и слепой поэт Гомер (или Омир, как писалось в те времена), который «роком обречен в печалях кончить дни» и вынужден всю жизнь скитаться, «снедая грусть в молчании глубоком»... И что его гений? И зачем он людям?

Он с ним пристанища в Элладе не находит...
И где найдут его талант и нищета?

Элегию «Умиравший Тасс» современники считали совершенным творением поэта и прямо сопоставляли ее с его несчастной судьбой. Торквато Тассо, автор «Освобожденного Иерусалима», итальянский гений, всю жизнь гонимый и, наконец, дождавшийся величайшего торжества для поэта — венчания в Капитолии, — умирает в самый день венчания...

Погиб певец, достойный лучшей доли!..

В 1817 году Батюшков чувствовал себя в небывалом творческом подъеме: он упорно работал всю зиму и вес-

ну, — а летом уже сознает, что действительно способен на нечто иное, гораздо большее.

Батюшков — Жуковскому, июнь 1817. Из Хантонова в Петербург: «Что скажешь о моей прозе? С ужасом делаю этот вопрос. Зачем я вздумал это печатать? Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые стоили мне столько, меня мучат. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я вел для стихов? Три войны, все на коне и в мире на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совесть отвечает: нет. Так зачем же печатать? Беда, конечно, не велика: побранят и забудут. Но эта мысль для меня убийственна, убийственна, ибо я люблю славу и желал бы заслужить ее, вырвать из рук фортуны, не великую славу, нет, а ту маленькую, которую доставляют нам и безделки, когда они совершенны! Если бог позволит предпринять другое издание, то я все переправлю; может быть, напишу что-нибудь новое. Мне хотелось бы дать новое направление моей крохотной музе...»

Другого издания не было. А из написанного Батюшковым после 1817 года до нас дошла лишь малая толика, жалкие обрывки...

13. 1817 ГОД. «ЧУЖОЕ: МОЕ СОКРОВИЩЕ!»

Батюшков — Гнедичу, май 1817. Из Хантонова в Петербург: «Я убрал в саду беседку по моему вкусу, первый раз в жизни. Это меня так веселит, что я не отхожу от письменного столика, и, веришь ли? целые часы, целые сутки просиживаю, руки сложа накрест. Сам Крылов позавидовал бы моему положению, особенно когда я считаю мух, которые садятся ко мне на письменный стол. Веришь ли, что очень трудно отличить одну от другой».

Пускай и в седилах, но с бодрою душой,
Беспечен, как дитя всегда беспечных граций,
Он некогда придет вздохнуть в сени густой
Своих черемух и акаций.

(«Беседка муз»)

Последнее прозаическое произведение Батюшкова из дошедших до нас — это его деревенская записная книжка 1817 года, носящая название «Чужое: мое сокровище!» Чего там только нет! Маленькая тетрадь сумела

вместить в себя личность Батюшкова, который в период наивысшего расцвета своей музы занят вопросами, не принятыми еще в тогдашней литературе. Это и заметки о сочинениях опального Радищева, и о войне, и о живописи, и о месте поэта в жизни. Там, между прочим, сохранился первый опыт разделения русской литературы на периоды и первый в истории русского литературоведения набросок большого историко-литературного исследования. Какие только книги здесь не цитируются и не разбираются! Ломоносов и Державин, Жуковский и Вяземский, Гварини и Тассо, Монброн и Буле, Сисмонди и Альфиери, Петрарка и Данте, Платон и Сенека, Монтень и Карамзин...

Впрочем, книг Батюшкову явно не хватает:

«Мая 3-го 1817.

Болезнь моя не миновала, а немного затихла. Кругом мрачное молчание. Дом пуст, дождик накрапывает, в саду слякоть. Что делать? Все прочитал, что было, даже «Вестник Европы». Давай вспоминать старину. Давай писать набело, impromptu, без самолюбия, и посмотрим, что выльется. Писать так скоро, как говоришь, без претензий, как мало авторов пишут, ибо самолюбие всегда за полу дергает и на месте первого слова заставляет ставить другое».

Заботы о здоровье и желание уехать прочь от всего окружающего все чаще овладевают Батюшковым. Он постоянно жалуется на боли в груди, в ноге, на северный климат. Надобно ехать лечиться на Кавказ или в Тавриду. Но — деньги! Хозяйство идет из рук вон плохо.

Батюшков — Гнедичу, март 1817. Из Хантонова в Петербург: «Но как писать? Здесь мушка на затылке, передо мной хина, впереди ломбард, сзади три войны с биваками!.. Счастливы те, которые познали причину вещей и могут воскликнуть от глубины сердца: пироги горячи, оладьи, горох с маслом!»

Батюшков — А. Н. Оленину, 4 июня 1817. Из Хантонова в Петербург: «Я так загрубел на берегах Шексны и железной Уломы, где некогда володел варвар Синеус, что не в состоянии ничего сказать лестного, не в силах ничего написать, кроме простой, самой голой истины».

А вот в записной книжке — мечта. Выражена она в

цифрах, и итог, аккуратно подсчитанный, — как крушение мечты...

«Петербургская жизнь

Квартира... 500
Дрова, освещение, чай... 500
Трое людей... 500
Кушанье... 1000
Платье... 1000
Экипаж в разные времена... 1000
Издержки неподвижные... 1000

5500»

Как быстро проходят мечты!

«8 мая. Я предполагал — случилось иначе — что нынешнею весною могу предпринять путешествие для моего здоровья по России. В половине апреля быть в Москве. Закупить все нужное, книги, вещи, экипаж. Провести три недели посреди шума городского. Посовестоваться с лекарями, и в первых числах мая отправиться на Кавказ. Пробыть там два курса, а на осень в Тавриду. Конец сентября, октябрь и ноябрь весь пробыть на берегах Черного моря, в счастливейшей стране, и потом через Киев к Новому году воротиться в Москву. — Но ветры унесли мои желанья!»

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают,
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места...

(«Таврида»)

Батюшков живет, как живется... Писать незачем — и он пишет просто так. Сколько непосредственности, простоты и сколько истинного таланта в этих записях:

«Что говорить о настоящем! Оно едва ли существует. Будущее... о, будущее для меня очень тягостно с некоторого времени! Итак, пиши о чем-нибудь. Рассуждай! Рассуждать несколько раз пробовал, но мне что-то все не удается: для меня, говорят добрые люди, рассуждать все равно, что иному умничать. Отчего я не могу рассуждать?»

Первый резон: мал ростом.

2 — не довольно дороден.

3 — рассеян.

4 — слишком снисходителен.

5 — ничего не знаю с корня, а одни вершки, даже и в поэзии, хотя целый век бледнею над рифмами.

6 — не чиновен, не знатен, не богат.

7 — не женат.

8 — не умею играть в бостон и в вист.

9 — ни в шах и мат.

10

11. После придумаю остальные резоны, по которым рассудок заставляет меня смиряться. Но писать надобно. Мне очень скучно без пера. Пробовал рисовать — не рисуется, писать вензеля — теперь ни в кого не влюблен; что же делать?..»

Кажется, шутка. Но сколько в ней желчи и горечи, сколько выстраданного сердцем и непонятого умом, сколько жизненной правды, вдруг открывшейся поэту, который «не чиновен, не знатен, не богат»...

Еще запись — как принцип жизни с окружающими людьми:

«В молодости мы полагаем, что люди или добры, или злы: они белые или черны. Вступая в средние лета, открываем людей ни совершенно черных, ни совершенно белых; Монтань бы сказал: серых. Но зато истинная опытность должна научать снисхождению, без которого нет ни одной общественной добродетели: надобно жить с серыми или жить в Диогеновой бочке».

И Батюшков собирается в Петербург: ему не жить в Диогеновой бочке. «Будь мне благоприятно, Провидение!»

В июле он поехал к больному отцу в Даниловское, хотел задержаться там на день-два, но прожил три недели: Николай Львович, с которым сын не ладил всю жизнь, был при смерти. Потом ему стало лучше, он повеселел, и 17 августа Батюшков, распроставшись с отцом, отправился далее.

Через четыре дня он прибыл в Петербург, где ждал его «Арзамас», друзья, вышедшие из печати «Опыты...», критика, благосклонно их воспринявшая, литературные беседы, и новые заботы, и новые путешествия, радостно начавшиеся и трагически окончившиеся...

Д. Н. Блудов. Из речи при вступлении в «Арзамас» К. Н. Батюшкова в заседании 27 августа 1817: «Ты, древний Ахилл, причина гибели Трои, был долго причи-

ной и побед ее; хвала Пенатам «Арзамаса»: наш Ахилл лучше прежнего, он и бездействием не может помочь покойнице «Беседе», но и он, как соименный, долго скрывался вдали от стана союзников... от переговоров писателей, от объятий своих московских красавиц и стерлядей Шексны...»

Так закончилась последняя поездка Батюшкова к «волнам Шексны».

В Даниловское он еще приедет. Там, в ноябре 1817 года, умрет отец, и 1 декабря, едва получив известие о его смерти, он вновь понесется навстречу отчому дому — устраивать сводных брата и сестру, Помпея и Юлию, спасти имение отца от публичного торга.

Но Хантонова в его жизни уже не будет.

«...Послушайте далее: он имеет некоторые таланты и не имеет никакого. Ни в чем не успел, а пишет очень часто. Ум его очень длинен и очень узок. Терпение его, от болезни ли, или от другой причины, очень слабо; внимание рассеянно, память вялая и притуплена чтением: посудите сами, как успеть ему в чем-нибудь?.. Он иногда удивительно красноречив: умеет войти, сказать; иногда туп, косноязычен, застенчив. Он жил в аде; он был на Олимпе. Это приметно в нем. Он благословен, он проклят каким-то гением...»

Заклучим: эти два человека, или сей один человек, живет теперь в деревне и пишет свой портрет пером по бумаге. Пожелаем ему доброго аппетита, он идет обедать.

Это я! Догадались ли теперь?»

(«Чужое: мое сокровище!»)

ВОКРУГ БАТЮШКОВА, ВОКРУГ ВОЛОГДЫ

Пять, в общем, самостоятельных очерков объединены здесь по трем причинам. Во-первых, герои их так или иначе связаны с Константином Батюшковым, были знакомы с ним или даже близки ему. Во-вторых, они жили, либо бывали в Вологде и в Вологодской губернии, так или иначе проявили себя в «краеведческом» отношении. В-третьих, очерки эти объединяются по «целевому» признаку: они представляют либо письма и материалы не опубликованные, не вошедшие в научный

обиход (таковы приводимые ниже письма К. Н. Батюшкова и П. А. Вяземского), либо открывают некоего «забытого» поэта или писателя, «забытого», но весьма характерного и для той эпохи, в которую он жил, и для батюшковского окружения.

Хотя, если объединять героев по признаку «знакомства» с Батюшковым, то надобно заново писать историю русской культуры его времени, ибо поэт был знаком практически со всеми сколько-нибудь известными писателями и художниками начала XIX века. Кроме того, в кругу знакомых были и видные военачальники, и чиновники всех рангов и категорий... И петербуржцы, и москвичи, и вологжане, и новгородцы, и нижегородцы, и молдаване, и греки, и французы, и немцы, и итальянцы, и...

Из этого обширного круга — пять имен.

1. «ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ ПОЭТ» В ВОЛОГДЕ

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском колких слов, и шутками богатый,
Счастливый Вяземский, завидую тебе...

А. С. Пушкин

У Пушкина много подобных обращений к П. А. Вяземскому, его поэтическому наставнику, и ученику, и соратнику, и одному из ближайших друзей.

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

Вяземский... Человек удивительной жизненной и литературной судьбы, интересный поэт первой половины XIX века, передовой «боец» передовых литературных обществ, друг Карамзина и Дмитриева, Жуковского и Батюшкова, Дельвига и Пушкина... Вольнодумец и вольтерьянец, фрондер и оппозиционер начала прошлого столетия, баловень и картежник, остроумнейший собеседник и корреспондент, скептик и оригинал. Человек долгой, противоречивой и очень наполненной жизни...

Он прожил 86 лет, из которых с Вологдой связаны только пять месяцев. О них подробно рассказано в книге В. В. Гуры «Русские писатели в Вологодской области» (с. 43—48). Мы вспоминаем их еще раз потому, что

эти месяцы были связаны со значительным событием в истории нашей родины — Отечественной войной 1812 года; и потому, что они ознаменованы интересными встречами и хорошими стихами, письмами, в которых всегда остаются бесценные крупницы истории.

Письма Вяземского к К. Н. Батюшкову не опубликованы. Часть их обширной переписки (цитированной в предыдущем очерке) хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (ф. 19, ед. хр. 28). Здесь мы расскажем лишь о событиях, связанных с тремя письмами Вяземского из Вологды в конце 1812 — начале 1813 года.

Основным смыслом той жизни, которую вел в молодости князь П. А. Вяземский, была шутка, блестящая фрондерство, сарказм — это же проявилось и в его творчестве, и в его письмах. Но в тех письмах, о которых пойдет речь, нет ни остроумия, ни насмешек. И странно было бы ожидать их...

Лето 1812 года. Французские войска быстро движутся по России, занимая один город за другим. После сдачи Смоленска прекращают выходить правительственные «Известия о ходе военных действий» — а это худой знак. В августе — жители священной и древней Москвы потянулись с насиженных мест: кто в Нижний Новгород, кто во Владимир, кто в Вологду...

26 августа в Бородинском сражении была поколеблена уверенность Наполеона в победе. Но после изгнания французов с Бородинского поля было убрано 56 811 человеческих тел и 31 664 лошадиных... А Москва была уже обречена на сдачу врагу.

За несколько дней до Бородина Батюшков вывез из Москвы больную Е. Ф. Муравьеву с детьми. Вяземский в это время находился в ополчении — во время Бородинского сражения оно стояло в запасе и в бой введено не было...

Батюшков — Вяземскому, ок. 20 августа 1812, в Москве: «Я приехал несколько часов после твоего отъезда в армию. Представь себе мое огорчение: и ты, мой друг, не оставил ниже записки! Сию минуту я поскакал бы в армию и умер с тобою под знаменами Отечества, если б Муравьева не имела во мне нужды. В нынешних обстоятельствах я ее оставить не могу: поверь, мне легче спать на биваках, нежели тащиться во Владимир на протяжных. Из Володимира я прилечу в армию, если будет

возможность. Дай бог, чтоб ты был жив, мой милый друг! Дай бог, чтоб мы еще увиделись. Теперь, когда ты под пулями, я чувствую вполне, сколь тебя люблю».

В сентябре 1812 года Вяземский выехал вместе со своим опекуном и наставником Н. М. Карамзиным в Ярославль. Там он (около 10 сентября) встретился с Батюшковым, перевозившим Муравьевых в Нижний Новгород. Вскоре после этой встречи Вяземский выехал в Вологду.

Я в Вологду попал бог весть
Какой печальною судьбою.
Московский житель с ранних пор,
Как солнце мой увидел взор,
О Вологде, перед тобою
Я признаюсь — не помышлял,
Ни въявь, ни между сновидений
О ней не думал, не гадал...

(«К Остолопову»)

Осенью и зимой 1812 года в Вологде жили многие известные люди: поэт и сановник Ю. А. Нелединский-Мелецкий, профессор Московского университета Христиан Шлецер, вождь русского масонства О. А. Поздеев (блестяще изображенный в «Войне и мире» Л. Н. Толстого), знаменитый врач-акушер В. Рихтер, автор «Истории медицины в России». Именно вслед за Рихтером выехал в Вологду и Вяземский: жена его Вера Федорна должна была родить первого ребенка.

Потрясенный разлукой с близкими, оставлением Москвы (виновником этого он, как все московское общество, считает главнокомандующего М. И. Кутузова), Вяземский находится в гнетущем состоянии духа. Первое его письмо к Батюшкову из Вологды кратко и печально:

«Я в Вологде, любезнейший друг, а судьба не дает мне и удовольствие найти тебя здесь. Мы свиделись с тобою в горестное время, но в сравнении с настоящим оно было еще сносно. Теперешнее ужасно, и надежда, столь много нас обманувшая, не имеет уже права на сердца наши. Я привез сюда жену и каждый день ожидаю ее разрешения. Да благословит ее бог. Все чувства, кроме чувства дружбы и привязанности к ближним и к вам, любезнейшие друзья мои, умерли в душе моей. О происшествиях, о ужасных происшествиях, поразив-

ших нас столь быстро, столь неожиданно, не имею силы думать Все способности разума теряются, сердце замирает, вспоминая о Москве.

Где ты, любезнейший? Говорят, во Владимире. Не думаешь ли переехать сюда? Не знаешь ли чего о Жуковском? Он перед отъездом моим из Москвы был у меня и сказывал, что он из полка перешел в дежурство Кутузова. Признаюсь, не поздравляю его с этим. Имя его для меня ужаснее имени врага нашего. Прости, мой милый. Пиши, а если можно, приезжай к другу твоему Вяземскому.

Вологда

23 сентября».

Горечь утрат и разлук, ожидание чего-то более страшного, боль за Москву и за родину звучат в этих письмах. Вот отрывок из ответного письма Батюшкова:

«Любезный князь... Ты меня зовешь в Вологду, и я, конечно, приехал бы, не замедля минутой, если б была возможность, хотя Вологда и ссылка для меня одно и то же. Я в этом городе бывал на короткое время и всегда с новыми огорчениями возвращался¹. Но теперь увидеться с тобою и с родными для меня будет приятно, если судьбы на это согласятся; в противном случае, я решился, и твердо решился, отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце, лишенное покоя ужасными происшествиями нашего времени. Военная жизнь и биваки меня вылечат от грусти. Москвы нет! Потери невозвратны! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук — все осквернено шайкою варваров!.. Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды? Чем наслаждаться? А жизнь без надежды, без наслаждений — не жизнь, а мучение. Вот что меня влечет в армию, где я буду жить физически и забуду на время собственные горести и горести моих друзей... Кстати о друзьях: Жуковский, иные говорят, в армии, другие — в Туле. Дай бог, чтобы он был в Туле и поберег себя для счастливейших времен. Я еще надеюсь читать его стихи; надеюсь, что не все потеряно в нашем отечестве, и дай бог умереть с этой надеждою. Если же ты меня переживешь, то возьми у Блудова мои сочинения,

¹ Пребывания Батюшкова в Вологде до 1812 года были связаны либо с болезнью, либо с денежными делами (1808 г. — заклад именина, 1809 г. и 1810 г. — болезни).

делай с ними что хочешь; вот все, что могу оставить тебе».

Кругом утраты. У Алексея Николаевича Оленина при Бородине убит старший сын Николай, а Гнедич из Петербурга пишет Батюшкову: «Но видно, что мы оба родились для такого времени, в которое живые завидуют мертвым — и как не завидовать смерти Николая Оленина — мертвые срама не имут...»¹

Второе дошедшее до нас письмо Вяземского к Батюшкову датируется 19—20 октября. Роды Веры Федоровны прошли благополучно: у Вяземских «появился Андрюшка». Через год, в разоренной Москве, он умрет — но пока отец радуется первенцу. Кроме того, он открывает, что и в Вологде есть литературно одаренные люди, и вообще находит там довольно приятное общество:

«Я вчера познакомился с твоими сестрами, и благодаря дружбе твоей ко мне, был ими очень обласкан. Они беспокоятся о тебе и просили меня употребить свое красноречие, чтобы переманить тебя к нам... Московские ваши собрания нимало меня не соблазняют, здесь тихо и смирно, и будь с нами Карамзины, ты и Жуковский, — я никогда не помыслил бы выехать. Москвы нет, и мне везде хорошо, потому что нигде не может быть приятно. Я здесь познакомился на стихах с Остолоповым, он человек любезный и умный. К Нелединскому хожу лечиться от грусти: он так тверд духом, так сносит великодушно несчастья, что я его стал почитать еще более. Даже веселость его не покинула, а напротив, он постоянно весел, чем прежде бывал. Кажется, он будто переламливает себя, чтобы давать другим пример философического терпения... Обнимаю тебя от всей души. Я так глуп, что едва-едва передвигаю мыслями. Приди, освети мрак моей души и разгони туман, облегший ее».

Тогда же, в октябре 1812 года, в Вологде Вяземский написал послание «К моим друзьям Жуковскому, Батюшкову и Северину». Там есть такие строки:

Давно ль, с любовью пополам,
Плели нам резвые хариты
Венки, из свежих роз увиты,
И пели юные пииты
Гимн благодарности богам?

¹ ИРЛИ, р. 1, оп. 5, ед. хр. 56.

Давно ль? — и сладкий сон исчез!
И гимны наши — голос муки,
И дни восторгов — дни разлуки!
Вотще возносим к небу руки,
Пошады нет нам от небес!

А Батюшков, живущий в Нижнем Новгороде, оправившись от лихорадки, всерьез решил отправиться на войну. Генерал А. Н. Бахметев, лечившийся в Нижнем, выразил готовность взять его к себе в адъютанты. Вяземский встревожен:

«Хотя ты и крепко кажешься решившимся не бывать в Вологде, я все еще не расстаюсь с очаровательною сею надеждою и сердце мое говорит мне вопреки письму твоему, что я обниму тебя здесь, что ты пожелаешь увидеть друга, может быть, в последний раз и посвятить несколько часов той дружбе, которая должна была утешать нас в самом начале, и на заре жизни нашей. Желание твое ехать в армию растревожило очень сестер твоих и меня, делай с собою как советуешь Жуковскому: побереги себя для счастливейших дней. Теперь и умереть не славно, таково гнусно и бедственно наше положение... Как знать, с каким лицом можно нам будет смотреть на прежних свидетелей и завистников славы нашей, обмоет ли конец грязь, которою покрылись мы при начале. Воздух петербургский ядовит и заразителен; может быть, и я, пожалев им, не чувствовал бы того, что чувствую теперь, но я не жалею о том».

«Очаровательная надежда» не обманула Вяземского: в декабре 1812 года Батюшков на несколько дней приехал в Вологду — свидеться с родными, взять деньги... Возвращался он через оставленную Наполеоном разоренную Москву, и ужасный вид разрушенного белокаменного «стольного града» подвигнул его на знаменитую поэтическую клятву — стихотворение «К Дашкову»:

Нет, нет, талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь

Перед врагом сомкнутым строем —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любви свиты,
И радость шумная в вине!

Третье дошедшее до нас письмо Вяземского к Батюшкову из Вологды — это уже новые хлопоты и подготовка к отъезду. В начале 1813 года в «Москву опустошенную» собирались ее жители, разметанные военной грозой. Вяземский получил приглашение из Ярославля от А. С. Грибоедова (будущего автора «Горе от ума») и тоже собирается:

«По несчастию, письмо твое застало меня еще в Вологде, и теперь из Вологды же пишу к тебе... Скоро, скоро думаю оставить здешние болоты, но однакож все еще для меня *грядущее незримо*. Прости, любезнейший, пиши ко мне в дом Кожена к Грибоедову в Ярославль, а люби везде, как я тебя, везде и всегда.

3 февраля. Вологда».

На этом, собственно, и можно было бы кончить рассказ о пребывании Вяземского в Вологде — но... мы совершенно не коснулись того «литературного общества» Вологды начала XIX столетия, о котором неоднократно упоминает Вяземский в письмах к Батюшкову. Между тем «общество» это было чрезвычайно своеобразно и «лица», в него входившие, — очень интересны. Особенно два вологодских «литературных посредника» Вяземского и Нелединского-Мелецкого, два современника и друга, с каждым из которых связан значительный этап в развитии русской филологии.

В начале XIX века литературоведения как самостоятельной науки еще не существовало. Первые попытки его будут предприняты пятьюдесятью годами позже. Но уже в начале прошлого века в России вышли два систематизирующих труда, без которых невозможно было бы возникновение ни теории, ни истории литературы. И интересно, что оба эти труда были созданы примерно в одно время — в Вологде. Один из них — первая русская «пнистика», охватившая массу литературных терминов, понятий и представлений своего времени. Другой — первое достаточно полное историко-литературное пособие по русской литературе. Об авторах этих трудов и пойдет здесь речь.

2. ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР, КОТОРЫЙ ПИСАЛ СТИХИ

Блажен, кто в жизни сей умеет
Привлечь к себе любовь сердец!
Блажен — надежду он имеет
Обречь бессмертия венец!

Когда на лекции произносишь фамилию автора этих стихов, слушатели улыбаются. Фамилия, действительно, необычная, выказывающая потомка «молодых» дворян петровского времени: Николай Федорович Остолопов.

Трудно совместить эту «смешную» фамилию с его личностью. Это был один из образованнейших людей начала прошлого века, свободно владевший десятком языков, талантливый поэт, переводчик с французского, немецкого, итальянского... С портрета смотрит худощавое лицо с умными недоверчивыми глазами и сжатыми в безмолвной улыбке губами... Чиновник при орденах и с белым стоячим воротником. Человек, застегнутый на все пуговицы.

Живи — и в хижине смирихонько своей
Ты наслаждайся всем, что небо повелело;
На глупости — смотри; учить — твое ли дело?
Ведь сколько ни учи, свет будет все такъв,
Что в нем большая часть плутов и дураков...

(«К Правдослову»)

Жизнь Н. Ф. Остолопова не богата событиями. Родился он в 1782 году в Сольвычегодске Вологодской губернии. Окончил Горный кадетский корпус. Служил в разных ведомствах: и в Коллегии иностранных дел, и в Министерстве юстиции, бывал и губернским прокурором, и вице-губернатором, и директором столичных театров, и председателем дорожного комитета, и управляющим «департамента геральдии», и начальником конторы коммерческого банка... Жил в Москве, и в Петербурге, и в Вологде, а умер — в Астрахани...

Свою литературную деятельность он начал в 1801 году в московском журнале «Иппокрена», где в совершенном согласии с сентиментальной традицией объявил о своей «зависти» к «любезному Дафнису» (стихотворение так и называлось: «Пастушок»)... Но уже через два-три года Остолопов становится известным «жрецом Аполлона», и стихами его украшаются самые популярные жур-

налы и альманахи. Его стихи мы найдем и в «Свитке муз» (1803), и в «Пантеоне русской поэзии», и в декабристских альманахах «Полярная звезда» (на 1823 и на 1825 годы), и в пушкинских «Северных цветах», и в «Памятнике отечественных муз»...

Выступал он и в качестве прозаика, но на этом поприще преуспел менее. Единственная оригинальная повесть его — «Евгения, или Нынешнее воспитание», выпущенная отдельным изданием в 1803 году, несмотря на благие намерения автора не «водить читателя по кладбищам и пустым избушкам», а вести «туда, где живут люди» (так он писал в предисловии), не выделилась из потока сентиментально-нравоучительных повестей начала прошлого века и крупным явлением не стала.

3 мая 1802 года Остолопов был принят в члены «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» — первой русской литературно-общественной организации, объединившей демократические силы молодой литературы. Друзьями его стали И. П. Пнин, И. М. Борн, В. В. Попугаев, Г. П. Каменев, А. Х. Востоков, А. Е. Измайлов, сыновья А. Н. Радищева Николай и Василий, чуть позднее — К. Н. Батюшков... В «Свидетельствах членов Вольного общества...» об Остолопове сказано: «В течение сего времени он всегда присутствовал в общественных собраниях и своею скромностию привлек к себе расположение членов, обещая обществу большую надежду»¹.

В 1805 году основным журналом «Вольного общества...» был «Журнал российской словесности», издававшийся Н. П. Брусиловым (о нем — речь впереди). Этот журнал продержался только год, а в 1806 году его сменил «Любитель словесности». Издателем стал Н. Ф. Остолопов.

В программной статье журнала издатель писал: «Цель наша состоит в том, чтобы, показывая новые и лучшие произведения словесности, как отечественной, так и иностранной, знакомить с ними наших читателей и возбуждать молодых авторов к изощрению своих дарований»². В «Любителе словесности» печатались лучшие писатели своего времени: Державин, П. Львов,

¹ Цит. по кн.: Поэты-радищевцы. Ред. и комм. Вл. Орлова, Л., 1935, с. 361.

² Любитель словесности, 1806, ч. 1, с. 2.

А. Измайлов, В. Попугаев, А. Писарев, Е. Болховитинов, А. Бунина. В IV части журнала появились знаменитые баллады Г. Каменева «Громвал» и «Инна», а в IX — первое большое стихотворение молодого Батюшкова — «Мечта».

В то время Остолопов, как член «Вольного общества...», не чуждается «вольных» мыслей», оставаясь-таки благонамеренным либералом. Он публикует, например, басню «Пчелы и шмели» — рассказ о том, как трудолюбивых пчел начали угнетать «ленивые шмели», прикрывающие свое безделье ханжескими «поученьями». Рой пчел, угнетаемых «тунеядцами», дошел до последней степени голода, — наконец

опомнились и обще для покоя
Они условились изгнать шмелей из роя;
Изгнали — и опять все стали процветать...
Ах! скоро ли пчелам мы станем подражать?..

В 1806 году «Вольное общество...» поручило скромному и талантливому члену своему Остолопову составить «словарь пиитический». Планировалось просмотреть французские, итальянские и прочие существующие «пиитики», перевести их, снабдить «русскими» примерами... Для опытного переводчика, каким был Остолопов, — несколько месяцев работы.

Остолопов работал над словарем четырнадцать лет.

«...Не мог я вообразить, что наполнение оного будет столь многотрудно, как то начало открываться при самом, так сказать, вступлении моем на сие поприще... все свободное от занимаемых мною должностей время употреблено было для составления и приведения в возможное и по силам моим совершенство сего словаря...»¹

Кропотливый труд потребовал уединения, которого мудрено было найти в журнальной работе и в суете столичных собраний. Поэтому в 1808 году Остолопов переводится «по прошению» в Вологду. Там жила незамужняя сестра его Татьяна Федоровна. Туда в том же 1808 году был назначен архиепископом давний его литературный знакомец Е. Болховитинов. Остолопов становится губернским прокурором.

¹ Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, действительным и почетным членом разных ученых обществ. Ч. I—III, СПб., 1821; ч. I, с. 11. Далее в тексте указывается том и страница.

С этого времени его имя почти исчезает со страниц журналов. Впрочем, литературных связей он не прерывает. Выше приводилась фраза из письма Вяземского к Батюшкову: «Я здесь познакомился на стихах с Остолоповым...» «Познакомиться на стихах» значило обмениваться посланиями. Вот отрывок из послания Вяземского:

Светлеет пасмурный мой взор —
Здесь муз любимец — прокурор!
Не откажи ты мне во дружбе,
В одной считаемся мы службе,
Хотя и не в одних чинах...

Позже Вяземский вспоминал: «Вологодский поэт Остолопов, заимствовав тогда счастливое и пророческое выражение из письма ко мне А. И. Тургенева, заключил одно патриотическое стихотворение следующим стихом:

Нам зарево Москвы осветит путь к Парижу..

Мог ли Наполеон вообразить, что он имел в Остолопове своего злого вешего и что отречение, подписанное им в Фонтенбло в 1814 году, было еще в 1812 году дело уже порешенное губернским прокурором в Вологде?...»¹

В Вологде Остолопов продолжает писать стихи, но они отодвигаются для него на второй план. В 1816 году вышел сборник его стихов под характерным заглавием «Прежние досуги». Ныне его досуги иные:

А я в моей укромной хате
Приятно, хорошо живу,
Как в царской будто бы палате,
И счастья больше не зову;
Женой и сыном я люблюсь,
То с ним, то с нею поцелуюсь,
И порезвлюсь, и пошालю,
Как водится в подлунном свете;
То запираюсь в кабинете,
И там я — на диване сплю...

(«К приятелю в столицу»)

Служебная карьера, между тем, идет своим чередом. В 1814 году Остолопов становится вологодским вице-губернатором. Но и на этом посту он остается тихим

¹ Русский архив, 1866, с. 242. Там же см. послание Н. Ф. Остолопова «К Вяземскому».

и замкнутым человеком. В Вологодском архиве, в обширной канцелярии вице-губернатора, среди многих следов его деятельности, мы не нашли почти ничего о нем самом: лишь четкая педантичная подпись на документах...

Он вовсе отделен от «сливок» вологодского общества, которому в том же послании «К приятелю в столицу» дает совершенно уничтожающую характеристику:

Здесь сушая у нас столица,
Здесь разные увидишь лица:
Увидишь гордых гордецов,
Любителей придворных тонов,
Людей, рожденных для поклонов,
Ханжей, и мотов, и скупцов.
И здесь Амур берет в оковы,
Имеет Бахус олтари,
И здесь судьи есть *Простаковы*
И *Кохтины* секретари;¹
И здесь старушки-вестовщицы
Развозят были, небылицы,
И сеют плевелы в домах,
Смотря с улыбкой на раздоры;
И словом, ящикек Пандоры
Уж был и в наших сторонах...

Через пять лет вице-губернаторства Остолопов подаст прошение об отставке и едет в Петербург. Там он готовит к изданию и в 1821 году издает труд, ставший основным наследием его жизни:

«Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, действительным и почетным членом разных ученых обществ».

Три объемистых тома в восьмую долю листа. В предисловии — указание на значимость этого труда: «ни в одной пиитике, ни росейской, ни иностранной» читатель не отыщет «таких подробностей, какие здесь излагаются» (1, с. 3). Огромный иллюстративно-художественный материал, использованный Остолоповым, превращает этот трехтомник в нечто среднее между теоретико-литературной работой и историко-литературной хрестоматией. Некоторые статьи из-за большого количества приводимых примеров занимают по 40—50 страниц: статья

¹ Простаков — персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»; Кохтин — персонаж комедии В. В. Капниста «Ябеда».

«Комедия», например, разместилась с 65 по 140 страницу второго тома!

«Все средства употреблены мною к тому, чтобы учащихся и учащихся поэзии избавить от чтения множества писанных по сему предмету книг, которых не всегда отыскать можно, или, по крайней мере, на которые потребно весьма значительное иждивение...» (1, с. 4). В этих словах — суть замысла Остолопова: не строя оригинальных систем (как, например, его друг А. Х. Востоков в книге «Опыт о новом стихосложении»), он взял на себя задачу обобщения того, что уже выработано традицией классицистических «пнитик». Несамостоятельность Остолопова вызвана его научной добросовестностью. Поэтому не стоит обвинять его в том, что он отставал от художественной практики русской литературы XIX века и «нес на себе отпечаток явной теоретической схоластики». Остолопов собрал воедино все «старые» представления о сущности поэзии, ее назначении и специфике — то есть подвел итог целому периоду развития литературы и эстетики. И не его вина, что литература перешагнула этот, классицистический, период: Более того, «Словарь...» Остолопова даже помог ей в этом, «показав самую жгучую необходимость создания теории новой»¹.

В «Словаре...» рассматриваются 424 «риторические тропы и фигуры, принадлежащие равно и прозе, и поэзии». Их краткая история подкрепляется цитатами не только из античной и западной литературы, но и из произведений Ломоносова, Державина, Востокова, Мерзлякова, Крылова, Гнедича, Батюшкова, Жуковского, — а в двух случаях — Пушкина, тогда еще только начинавшего свой творческий путь. Для сравнения укажем, что в современном «Поэтическом словаре» А. Квятковского (1966), капитальном справочнике по теории литературы, объясняется около 670 терминов. А ведь Остолопов опирался на неизмеримо меньший материал, и «Словарь...» его был первым опытом подобного рода. Поэтому, несмотря на «архаичность» и «схоластику», он все же сослужил немалую службу и почти на столетие остался единственным источником поэтической терминологии.

¹ Возникновение русской науки о литературе. М., 1975, с. 170—171.

А вы, товарищи, сотрудники любезны,
Лиющие от рифм, как я, потоки слезны!
Внемлите мне, я к вам мой обращаю глас:
Оставим для других утесистой Парнас!

(«Признание»)

Последнее десятилетие жизни Остолопова печально. Он меняет места службы, но нигде не находит удовлетворения.

Он печатает сборник басен «Апологические стихотворения», поэму «Привидение», переводы из Тассо, Вольтера — но все это воспринимается как литературный анахронизм и встречается в журналах двадцатых годов насмешками.

Прежние друзья умерли. Литературная молодежь сторонится его как «архаиста». Он вытесняется из «большой литературы» и уже не принимает участия в литературных баталиях.

Смерть его в 1833 году прошла незамеченной.

Чтоб именем твоим именовать других
Похожих на тебя товарищей твоих,
Чтобы стихи в пример галиматьи ходили
И все бы наизусть для смеха их твердили,
Вот слава чем тебя желает увенчать!
Пиши, еще пиши — и отдавай в печать.

(«К русскому Бавию»)

Вспоминают его сейчас лишь как автора «Словаря...». В Вологодской областной библиотеке хранится экземпляр «Словаря...» с дарственной надписью автора на форзаце первого тома. Четким чиновничьим почерком, буковка к буковке, выведено:

«Вологодской губернской гимназии
приносит в дар
сочинитель
статский советник и кавалер
Николай Федорович Остолопов,
уроженец и дворянин
Вологодской губернии.

18 декабря 1821 года

С. Петербург»,

Но не менее интересна книжка, выпущенная Остолоповым год спустя: «Ключ к сочинениям Державина по изданию 1808 года. С кратким описанием жизни сего знаменитого поэта».

Небольшая книжка «карманного» формата из 95 страниц. Тоже — опыт в необычном для тех времен жанре: бытовой комментарий к поэтическим произведениям.

Г. Р. Державин в предисловии к первой части своих «Сочинений» (1808) обещал снабдить их «примечаниями как на те места, кои иносказательны, так и на те собственные имена, кои мне одному известны... Со временем я или кто другой по мне объяснит как их, так и те речения, которые в скрытом смысле употреблены и заключают в себе двойное знаменование...» В какой-то мере эту задачу выполнил остолоповский «Ключ...», в котором наш герой выступил по отношению к Державину тем же, кем Эккерман по отношению к Гете. «Имею счастье пользоваться благосклонностью Гавриила Романовича, — пишет он в предисловии, — я успел под его руководством собрать самые достоверные объяснения на большую и лучшую часть его сочинений...»

Впрочем, здесь позвольте высказать сомнение. У нас нет сведений о какой-то особенной близости Остолопова и Державина. Мы, честно говоря, не очень верим, чтобы он мог сам составить комментарий, носящий на себе ярчайший отпечаток державинской личности.

Мы подозреваем здесь бескорыстную помощь одного его знакомого...

3. ЕВГЕНИЙ, ПОСЕТИВШИЙ ДЕРЖАВИНА

Так, разве ты, отец! святым твоим жезлом
Ударив об доски, заросши мхом, железны,
И свитых вокруг моей могилы змей гнездом
Прогонишь — бледну зависть — в бездны!

Г. Р. Державин. Евгению. Жизнь Званская

Это стихотворение Державина — хрестоматийно. В нем наиболее ярко отразилась важная черта его поэтического облика: введение в сферу поэзии принципиально «прозаических» вещей. Неторопливый рассказ об уютном новгородском имени Званка на берегу Волхова, подробное описание обеда, сна, гуляния и ежедневного образа жизни русского помещика — все это придает посланию Державина неповторимую прелесть...

Адресат этого послания — епископ Евгений (в миру Евфимий Алексеевич) Болховитинов, живший в то время (1807 год) неподалеку от державинской Званки в Хутынском монастыре. Он же — будущий знаменитый

митрополит Евгений, русский историк, археолог, писатель.

В Святогорском монастыре, в церкви, что стоит возле могилы Пушкина, сохранился его портрет в клобуке и в рясе. Мрачноватый, тяжеловатый священник с умытым и усталым взглядом...

Преосвященный Евгений посвятил себя духовной карьере, пожалуй, лишь в силу обстоятельств. Сын бедного воронежского священника (родился в 1767 году), он десяти лет лишился родителей и был взят в своеобразный приют — в архиерейский певческий хор на казенный счет.

Оттуда был единственный путь «наверх»: приходская школа, духовная семинария... Воронежскую духовную семинарию Евгений окончил блестяще и шестнадцати лет от роду, в 1783 году, был отправлен на семинарском иждивении оканчивать науки в Московскую духовную академию. Это редчайшая удача — но Евгению этого мало. Успевая учиться в духовной академии, он одновременно посещает лекции в Московском университете, активно включается в деятельность кружка русских просветителей, близкого Н. И. Новикову. В знаменитых журналах Новикова он помещает первые свои произведения, весьма далекие от «православия»: жизнеописания древних языческих философов, биографию французского писателя Франсуа Фенелона (автора романа «Приключения Телемака»).

Через шесть лет учебы Евгений возвращается в родную Воронежскую семинарию, где преподает риторику, философию, древние языки, — и задумывает большой труд «Российская история» (оставшийся незаконченным).

В 1800 году он уже в Петербурге, пострижен в монахи, в Александровской академии читает лекции философии и новейшего красноречия — и выпускает объемистое «Историческое изображение Грузии». В 1804 году Евгений становится викарием новгородским — и пишет «Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода», основанные на первоначальных археологических раскопках, им произведенных...

Духовная карьера, между тем, идет, как обычно идет всякая карьера. В 1808—1813 годах Евгений становится архиепископом Вологодским. Потом — Калуга, Псков. Наконец, сан митрополита и Киев, где он и умер в 1837 году.

Человек необычайного трудолюбия, широчайших познаний и громадной эрудиции, Евгений оставил серьезное наследие, большая часть которого была далека от его основной профессии. Им было издано около 50 трудов по самым различным отраслям знаний: от истории и литературы — до медицины, химии, астрономии. Кроме того — десятки переводов. А около 25 больших сочинений осталось в рукописях.

Его избирали почетным членом Академии наук и Российской Академия, Московский, Харьковский, Казанский, Виленский, Дерптский, Петербургский университеты, «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», «Общество истории и древностей», «Беседа любителей русского слова» — и прочая, и прочая, и прочая...

Период его жизни в Вологде (1808—1813) был одним из самых продуктивных. Он задумывает «Историю монастырей греко-российской церкви», выпускает введение к ней и «Описание монастырей Вологодской епархии». Он пишет труды по языкознанию («О личных собственных именах у славяно-руссов»), и по этнографии («О разных родах присяг у славяно-руссов»), и по археологии («О древностях вологодских зырянских»). Он сам ездит по монастырям, разбирает архивы, копирует надписи, по его распоряжению в архиерейский дом доставляются в значительном количестве ценные исторические материалы...

В Вологде же в 1812 году он закончил свой основной литературоведческий труд:

«Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России».

Первая попытка создания такого словаря была принята им еще в 1805—1806 годах: на протяжении двух лет в журнале «Друг просвещения» ежемесячно печатались в алфавитном порядке известия о русских писателях. В предисловии Болховитинов отмечал: «История писателей есть существенная часть истории литературы, потому что они составляют даже эпохи и периоды ее. Но знать писателей чужестранных есть посторонняя для нас честь, а не знать своих отечественных есть собственный стыд наш». Но, напечатанный «до половины буквы К» (до статьи «Кириллов Иван»), словарь прекратился. Как указывал потом автор, причиной тому была «трудность в собирании сих известий».

Лексикографическая, алфавитно-словарная форма изложения историко-литературных фактов была в то время почти единственной, и в создании своего словаря Евгений шел по стопам своего учителя — Н. И. Новикова. В предисловии он прямо указывает на эту преемственность: «Первый опыт в собрании таких известий по азбучному порядку сделал г. Новиков изданным кратким словарем в 1772 году...»¹ Еще раньше, в 1736 году, в Ревеле был выпущен на латинском языке «Каталог писателей» А.-Б. Селлия, датчанина, жившего в России, в котором были собраны сведения о 164 писателях, русских и иностранцах, о России писавших. Этот «Каталог...» был переведен учениками Вологодской духовной семинарии (под редакцией, или, как тогда говорили, «под наблюдением» Болховитинова) и издан в 1813 году².

Словарь Болховитинова намного полнее названных. В него вошли статьи о русских писателях, независимо от того, на каком языке они сочиняли, иностранцах, состоявших на русской службе, переводчиках и «многих вообще одобренных и полезных писателях». Статьи о тех авторах, которые были включены в словарь Новикова, здесь пересмотрены и нередко дополнены новыми данными, которые Болховитинов и сам собирал, и получал от многочисленных корреспондентов и добровольных помощников. Многое вообще основано на личных встречах неутомимого епископа. «Все это, — пишет современный исследователь, — делает труд Евгения Болховитинова справочным пособием, во многом не утратившим своей ценности вплоть до нашего времени»³.

Но в 1812 году Евгению не удалось издать своего «Словаря...», да и другие увлечения захватили его. Он долго работает над «Словарем историческим о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви» (издан в 1818 году и переиздан в Лейпциге в 1971-м), публикует исторические разыскания. К первому «Словарю...» он больше не возвращался. Отрывки

¹ Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России, сочинение митрополита Евгения, тт. 1—2, М., 1845, с. 11.

² Каталог писателей, сочинениями своими объяснявших гражданскую и церковную российскую историю, сочиненный Адамом Селлием. Переведен в Вологодской семинарии. М., 1813.

³ Возникновение русской науки о литературе. М., 1975, с. 229.

его печатались в 1821—1822 годах в журнале «Сын отечества», затем рукопись была передана профессору Московского университета И. М. Снегиреву, который выпустил первый том словаря. Все же издание было осуществлено в 1845 году М. П. Погодиным, который счел за лучшее не «поправлять» и не «дополнять» ничего, а «оставить рукопись без перемен». Но даже запоздавшее на 33 года издание явилось событием в формирующейся литературной науке. Профессор Дерптского университета, писатель В. М. Перевощиков читал специальный курс: «История русской литературы по словарям Новикова и митрополита Евгения»...

Теперь позвольте вернуться к остолоповскому «Ключу...»

У нас есть основания предположить, что Евгений Болховитинов имел к его составлению самое непосредственное отношение.

Евгений на протяжении двадцати лет находился с Державиным в самых близких отношениях, переводил для него античных авторов. Он подолгу гостил в Званке и по целым дням общался с поэтом — а он очень не любил напрасно тратить время!

Болховитинов высказал мысль о необходимости литературного комментария к стихам Державина... раньше, чем об этом написал сам Державин. В 1805 году в словарной статье о поэте он заметил: «Все его сочинения суть большею частию картины современного века, а особливо царствования Екатерины II, и потому без сведения о современных обстоятельствах многие места и намеки в его стихотворениях ясно разумеемы быть не могут»¹.

Наконец, именно ему Державин писал длинные «литературные» письма, а в послании «Евгению. Жизнь Званская» прямо уповал на то, что именно он (с помощью Клио, музы истории) сохранит в человеческих сердцах и умах память о поэте:

Не зря на колесо веселых, мрачных дней,
На возвышение, на понижение счастья,
Единой правдою меня в умах людей
Чрез Клии воскресишь согласи.

¹ Друг просвещения, 1805, ч. III, № 5, с. 42.

Евгений был дружен с Остолоповым. Упоминания об этой дружбе есть в цитированных выше заметках П. А. Вяземского, а в библиотеке Н. П. Смирнова-Сокольского хранится переплетенное первое полугодие остолоповского журнала «Любитель словесности» с дарственной надписью издателя Болховитинову¹.

Евгений помогал Остолопову в работе над «Словарем древней и новой поэзии...», о чем позже он писал Д. Н. Хвостову, высоко оценивая труд своего друга².

И. Кубасов в статье об Остолопове в «Русском биографическом словаре» предположил, что Евгений передал тому какие-то «собственноручные записи» Державина³. Это тоже маловероятно. В 1834 году были изданы объемистые «Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице Елисавете Николаевне Львовой в 1809 году». Племяннице — диктовал... Вряд ли нужны были эти «диктовки», если бы существовали какие-то «собственноручные записи».

Скорее всего были записи самого Евгения, записи периода «званских» встреч с поэтом. Евгений, «быв некогда моих свидетель песен здесь», искавший «отзывы от лиры моея», записал «достоверные объяснения», составившие основу остолоповского «Ключа...»

Почему-то Евгений не написал такой «Ключ...» сам. Почему-то в «Ключе...» нет упоминания о нем. Впрочем, это уже та грань, где предположение может перейти в домысел...

В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР хранится акварель, изображающая званскую усадьбу Державина. На обороте написано (с подписью автографом Державина):

На память твоего, Евгений, посещения
Усадьбы маленькой изображен здесь вид,
Гораций как бывал Мецею в восхищеньи,
Так был обрадован тобой мурза-пиит.

22 июня 1807 года.

¹ Смирнов-Сокольский Н. Моя библиотека. Библиографическое описание. Т. II. М., 1969, с. 147.

² Сборник 2-го Отделения Академии наук, т. V, вып. 1, с. 189—190.

³ Русский биографический словарь. Т. «Обезьянинов-Очкин». СПб., 1905, с. 364.

Ниже — ответное четверостишие Болховитинова:

Средь сих болот и ржавин
С бессмертным эхом вечных скал
Бессмертны песни повторял
Бессмертный наш певец Державин.

На литературных вечерах в Вологде Евгений Болховитинов был «третьим литературным посредником» между Вяземским и Нелединским-Мелецким. И конечно же, их не забыл удостоить своим посещением герой следующего очерка.

4. «УЕДИНЕННЫЙ ПЕВЕЦ»

Хочешь ли новостей? Межаков женится на племяннице Брянчанинова!

*Из письма Батюшкова к
Гнедичу от 26 января
1811 года, Вологда*

Автор одного из первых советских семинариев «Два века русской литературы» Н. К. Пиксанов выдвинул в качестве темы большой научной работы творчество «маленького» поэта времени Александра I, вологодского помещика Павла Александровича Межакова. Стихи его, отмечал Пиксанов, несмотря на их заурядность, представляют собой большой историко-культурный интерес прежде всего потому, что личность и жизненная позиция П. А. Межакова является ярким и своеобразным отражением эпохи расцвета «русского барства».

Насколько нам известно, тема, предложенная Пиксановым для «литературной работы», так и осталась неисследованной, а Межаков оказался так прочно забыт, что имя его и сочинения не попали ни в один справочник, посвященный русской литературе.

А все-таки хочется о нем вспомнить...

Биография Межакова весьма обыкновенна. Вологодский помещик из старинной дворянской фамилии, родился в Вологде в 1786 году. Учился в Москве, служил в Петербурге, состоял при русской миссии в Неаполе (где позже был Батюшков) и даже участвовал в войне с Наполеоном в 1807 году. 25 лет от роду, после трагической гибели отца своего, он оставил службу и поселился в родовом имении Никольское Кадниковского уезда Вологодской губернии. Женился на племяннице А. М. Брянчанинова (родственника и друга выдающегося писателя

М. Н. Муравьева), благодаря чему имел честь быть упомянут в переписке Батюшкова. Остальную часть жизни провел в родовом имении, на зиму выезжая в столицы. И умер «посреди детей, плаксивых баб и лекарей» в 1865 году.

Все, что он оставил потомкам, — это две тоненькие книжки стихов: «Уединенный певец» (вышла в 1817 году без имени автора) и «Стихотворения Павла Межакова» (1828).

В странах, где Сухоны сердитой
Из озера стремится ток,
В скалах и пропастях прорытой,
И мчась в пучине ледовитой,
Крутит и камни, и песок;
В долине, скатом наклоненный
До самых озера валов,
Стоит мой дом уединенный,
От бурных ветров защищенный
Столетних сению дубов...

Это Никольское, усадьба Межакова, в которой он живет и которую воспевает. Построена она была в 12 верстах от озера Кубенского, на реке Уфтюге, еще в 80-е годы XVIII столетия. В основном корпусе была 41 комната, не считая флигелей и пристроек, не считая картинной галереи, соединенной с основным зданием. Дом построен в классицистическом «итальянском» стиле. Стены и потолки богато отделаны лепными украшениями и живописью. Полы — в паркете из палисандрового дерева. Вокруг дома — громадный парк с гротами и статуями, с длинными аллеями, клумбами, оранжереями, прудами... На одном из прудов был «остров любви» с развалинами в античном стиле.

Это усадьба, в которой «уединенный певец», и только он, единый и полновластный хозяин, готовый казнить и миловать, отец и благодетель всей вотчины, «магнат», как точно называли его современники.

... . . . Я раздаю
Занятия ленивым,
Покой трудолюбивым,
Больным целебный сок,
Одежду погорелым,
Подпору престарелым,
Приют осиротелым,
Прохожим уголок,
Утеху огорченным,
Защиту угнетенным,
И нищему кусок...

Как приятно этому лирическому «я» сознавать, что он может сделать все, что пожелается! Может одарить, а может и...

В Вологодском архиве сохранился обширный личный фонд Межаковых. Большая часть его — всякого рода деловые бумаги, «ревизские сказки», отчеты управляющих, наставления и приказы господина. «Уединенный певец» был неплохим хозяином. Он имел свыше 24 тысяч десятин земли и около 1600 душ крепостных (только «мужеского пола», женщины и дети в ревизских сказках за «души» не считались). Хозяйство у него было смешанного характера: около 1200 «душ» находились на оброке, а 400 — на барщине. Под барскую пашню взято 800 десятин лучшей земли, в хозяйстве установлена трехдневная барщина. Из многочисленных инструкций Межакова выясняется, что он очень строго следил за удобрением полей навозом, за работой своих «ленивых» крестьян, коим он усердно «раздавал занятия», за сохранностью урожая... А урожай были — плохие. «Ленивые» крестьяне-барщинники со своих плохо удобренных полей собирали урожай зерновых на 15—20% выше барских...

Межаков, наверное, долго ломал голову: чем это объяснить?

Там весело пастух в свирель свою играет,
Гоня ревущие стада,
Там пахарь песенку простую напевает,
Не чувствуя труда...

Известный русский историк Н. П. Колюпанов, вспоминая свои детские годы, пишет и об «уединенном певце»: «Отец мой состоял в родстве с вологодским магнатом П. А. Межаковым. Межаков был один из образованных помещиков того времени и жил в великолепном своем имении Кадниковского уезда, где у него был превосходный оркестр из крепостных, известный конский завод с английскими выписными жеребцами, большие оранжереи и громадный сад с прудами. Обширная родня Межакова собиралась в его Никольском и проводила время гораздо осмысленнее, нежели на обширных помещичьих съездах: давались домашние спектакли, разыгрывались шарады на французском языке, оркестр играл серьезную музыку и аккомпанировал пению...»¹.

¹ Русское обозрение, 1895, № 1, с. 232.

В статье «Очерки по истории русского театра в 1812 году» Коллюпанов подробно описывает оркестр Межакова, состоявший из 30 человек: «...Способные дворовые мальчики отдавались в учение в Петербург первым знаменитостям, и капельмейстером был вольнонаемный поляк Дембинский, замечательный музыкант и композитор».

И характерная деталь: «Оркестр этот кончил свое существование трагически: вследствие семейной истории большинство музыкантов было отдано в солдаты...»¹ Деталь, ярко представляющая нам Межакова, русского помещика, «магната» и «певца». Как тут угадаешь, где граница между образованностью и дикостью? Где рубеж между помещицъей благотворительностью и крепостническим зверством? Где кончается «уединенный певец» и появляется «дикий барин»?

Отец «уединенного певца» Александр Михайлович Межаков был одним из богатейших и просвещенных помещиков Севера. Он владел 41 селением в 11 волостях Вологодского и Кадниковского уездов. Вступив во владение именем в 1783 году, он широко и смело повел хозяйство, применяя «новые методы». Через 10 лет поголовье скота утроилось, а площадь посева удвоилась; еще через 10 лет были построены три огромных винных завода, крупнейший конный завод. В 1800—1805 годах А. М. Межаков взял на откуп сначала торговлю вином во всей Вологодской губернии, потом торговлю солью, потом — почту (содержит 72 почтовые станции и 718 почтовых лошадей). Потом он строит черепичный завод...

А потом он был убит. 24 мая 1809 года Александр Межаков выехал с кучером в поле для осмотра полевых работ. Доехав до леса, он вышел из экипажа и решил прогуляться. Тут раздались два выстрела — барин упал замертво. Стрелявших поймали, допрашивали, пытали... Они признались, что их подкупили на это убийство за 500 рублей крестьяне Межакова, не вынесшие его жестокостей и самодурства, от которого задавились двое крепостных... Потом, соответственно, была расправа над крестьянами. 14 человек были наказаны кнутом и сосланы на каторгу, у троих из них были вырваны ноздри...

А сыном убиенного магната был «уединенный певец».

Характерен его портрет. Заносчивый профиль, слиш-

¹ Русская мысль, 1889, № 7, с. 118.

ком крутой лоб, волосы короткие, волнистые, мясистый нос, усы и пухлые губы, выдающиеся вперед, что придает профилю чванливый, надутый вид, сердитый бугорковый подбородок — и большие серые, очень умные глаза...

«Уединенный певец» был очень недоволен «мягким» приговором суда над крестьянами, убившими его отца. Из 14 осужденных пять должны были быть возвращены в поместье барину, но тот отказался принять их и настоял на отправке их в Сибирь по этапу: «...Я никого из них в вотчине моей иметь не желаю. Затем и прошу не возвращать их в вотчину мою, поступите с ними по законам нашим изданным».

Человек, способный сдать в солдаты крепостной оркестр, — и человек, любящий природу, тонко понимающий и чувствующий стихи. Он был знаком с И. А. Крыловым, Г. Р. Державиным, М. Н. Муравьевым, Н. И. Гнедичем, П. А. Вяземским... Он еще в 1820 году назвал Пушкина-поэта «своенравным, одному себе лишь равным». Он с восторгом отзывался о Батюшкове, который, как он пишет,

Пламень неги сладострастной,
Как волшебник, в душу льет
И умы к себе влечет...

Он знал несколько иностранных языков и переводил Горация, Проперция, Тибулла, Оссиана, Делиля, Ламартина, Шиллера...

И все-таки он был и остался прежде всего помещиком. Характер помещика, который выказался в его стихах, не такой уж простой.

Это «дворян российских сын», барин старой складки («времен старинных, не новейших»), презирающий всякого рода «выскочек». Этого барина «не трудно рассердить», но, «скоро вспыхнув», он «отходит» (а все-таки лучше не «сердить»!) Он немного похож на Фамусова:

Я в сердце презираю школу
Либералистов записных... —

и немного на Онегина:

В привычках я немного странен...

В среде провинциального дворянства он, как и Онегин, «опаснейший чудак», что, однако, не мешает соседям

пользоваться в качестве «гостей» его добротой и благодатями его имени:

Тот с ружьем гуляет в поле,
Тот на шатком челноке
Разъезжает по реке,
С равнодушием счастливым
Правя легкий свой челнок,
Ловит парусом игривым
Перелетный ветерок;
Тот поет, другой играет,
Тот задумчиво срывает
Для красавицы цветков...

Осенью, когда в имени «все вид угрюмый и печальный являет здесь моим очам», он собирается «к роскошным берегам»; а весной — опять в деревню, к своим крестьянам и к своим развлечениям:

Но лес лишь станет оживать, —
И, неизменный наш любитель,
Я уклонюсь в твою обитель
Под вашей тенью отдыхать!

Так вот и идут помаленьку месяцы и годы...

В стихах Межакова, как в самом ярком из свидетельств современников, отразилась эпоха, воплотилась среда, невольным выразителем и в какой-то степени невольным обличителем которой стал сам «уединенный певец». Таких «певцов» много было на Руси святой. Напрашивается, например, аналогия с другим очень похожим на него поэтом-помещиком Александром Михайловичем Бакуниным, отцом знаменитого народника-анархиста Михаила Бакунина. Очень похоже все: А. М. Бакунин также стремился создать в своей усадьбе Премухино Тверской губернии особый мир интеллектуальных интересов искусства и духовной гармонии, тоже писал множество стихов о природе, о счастье в семейном кругу, о райской жизни уединенного поместья (стихи эти, правда, не предназначались для печати¹). А умом А. М. Бакунина восхищался, например, В. Г. Белинский, бывавший в Премухине.

Можно даже провести к стихам Межакова аналогию с творениями позднего Державина — хотя бы с его посланием «Евгению. Жизнь Званская». Межаков отразил эпоху — и в этом сила его несовершенных стихов.

¹ Частично опубликованы в книге: Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1914.

Русский просвещенный помещик, Межаков считает себя одним из двигателей прогресса:

Покорный всемогущей воле,
Я свет коварный забывал,
Взрывал наследственное поле
И песнь свободы напевал...

«Свобода» эта, правда, ограничена в своих пределах: крестьяне воспринимаются «уединенным певцом» (не помещиком Межаковым, а его лирическим «я») совершенно идиллически. Пастух, «отдыхая» со стадом, весело играет в свирель. Пахарь налегает на соху, «не чувствуя труда». И вообще «счастливы лица поселян», и гулянья народные «ах как веселы»!.. Здесь видна одна из характернейших черт психологии всякого помещика, владельца, вообще «начальника».

Межаков великолепно понимает, что все эти «пахари» и «поселяне» создают материальные ценности, за счет которых он имеет возможность жить так, как живет. И он, наверное, не раз видел пот на лицах этих веселых «пастырей» и «пахарей» — судя по документам, он очень деятельно интересовался хозяйством и во все мелочи вникал сам. Просто здесь скрывается то истинное «начальственное» чувство, которое великолепно подметил Лев Толстой: мальчик впервые скачет на лошади, и ему кажется, что лошади так же весело и легко скакать под ним, как и ему на ней...

Не имея иных поэтических тем и мотивов, Межаков становится певцом «усадебной» лени. Вот он наслаждается природою со своим семейством:

То с милою женою
И с крошками резвлюсь;
То кроясь от зною,
Под липою густою
Усядемся кружком,
И их невинны речи
Я слушаю тишком...

А потом, как водится, идет помечтать:

В своем уютном кабинете
О бедном сем подлунном свете
Люблю совсем позабывать;
И на крилах воображенья,
Паря в воздушные селенья,
Там пышны замки созидать...

По вечерам читаются любимые стихи (Крылова и Жуковского, Батюшкова и Пушкина) и — под их влиянием — создаются свои: плоды послеобеденных мечтаний.

И для того, богов в совете,
Назначено на белом свете
Мне быть — Поэтом иль ничем...

«Уединенный певец» был и остался второстепенным писателем. Его сборник 1828 года обратил на себя внимание только двух журналов, посвятивших ему краткие библиографические справки. В журнале «Московский телеграф» Н. А. Полевой заметил о нем в трех иронических строчках: «Элегии, послания и смесь составляют всего 45 пьес сего собрания стихотворений... Предметы пьес весьма разнообразны: бессмертие и солома; изображение битвы и листочек; прощание с любовью и виноват».

А в 1883 году, когда впервые было опубликовано цитированное письмо Батюшкова, фамилия «уединенного певца» была неправильно напечатана: «Межиков». И внуку его, Мануилу, пришлось писать специальное опровержение в солидный журнал «Русский архив»...

Той же осенью 1812 года Вяземский познакомился еще с одним вологодским помещиком. В отличие от Межакова он вовсе не писал стихов, но косвенное отношение к Парнасу все-таки имел.

5. ВОЛОГОДСКИЙ РОДСТВЕННИК БАТЮШКОВА

Итак, друзья мои, ожидайте меня у волн Шексны. Надеюсь, что брат Павел Алексеевич встретит. Если бы я его менее любил, то верно бы рассердился.

Из письма К. Н. Батюшкова к А. Н. Батюшковой, 1 июля 1809 года

«Я весьма виноват... что не писал с приезда моего из чужих краев... Но мое молчание не должно было огорчать вас насчет моего дружества и привязанности сердечной. Верьте, они постоянны. Я вас люблю, и в том могу смело уверить, более, нежели когда-нибудь. Ибо я чувствую и жизнью, что ваше счастье неразлуч-

но с мной; вы никогда не выходили из моей памяти; вы всегда были в душе моей слиты с самыми драгоценными и сладкими воспоминаниями...»

Эти строки, ранее не публиковавшиеся, принадлежат Константину Батюшкову. Они напоминают любовное послание. Но это отрывок из письма совсем иного рода.

Адресат Батюшкова — вологодский помещик Павел Алексеевич Шипилов, муж его старшей сестры Елизаветы. Письма Батюшкова к Шипилову (их тринадцать) хранятся все в том же Рукописном отделе Пушкинского Дома (фонд 19, ед. хр. 20). Написаны они небрежным, торопливым почерком. Над потоком торопливых букв возвышаются острые шпильки согласных, которые напоминают отточенные копья, посланные адресату внутри ласковых обращений... Это, в общем-то, не похоже на обычный, ровный и аккуратный почерк Батюшкова.

Читаем в этих письмах:

«Я имею большую нужду платить по двум векселям в чужие края... Подходит время платить в ломбард, кажется, около трех тысяч с процентами; если не более. Мне обещают здесь пересрочить то же самое имение с тем, чтобы я прислал или представил не залог для ревизии, а сказку из суда...»

По своему имущественному положению Батюшков был дворянином среднепоместным. Как помещик, он стоял на грани разорения, и уделом его были долги, проценты по залогам, перезакладывание уже заложенных имений и прочие разорительные финансовые операции.

«...Последнее письмо твое я получил, мой милый друг. Постарайся собрать 540 р., которые придется за сей год, и доставь их мне немедленно...»

Расписки, долговые обязательства, заклады в ломбард... Батюшков не успевал заплатить по одному векселю, как подходил срок другому. Он лихорадочно искал выхода из тупиков, но еще более запутывался. Он мог по крупицам полгода собирать деньги и растратить их в единый миг на какие-нибудь пустяки и безделушки. Он не умел распорядиться своим состоянием, управлять помещьем, вести хозяйство. Он не был человеком практическим.

И тут явился Павел Шипилов.

Это была поистине находка. Человек, который взял в руки свои большую часть хозяйственных хлопот. Сам

помещик средней руки с небольшим годовым доходом, Шипилов был крепок и расчетлив в денежных делах, имел трезвый рассудок, умел оценить положение и найти из него выход. Для Батюшкова это было почти спасение — и он, не раздумывая, передал ему управление почти всеми поместьями.

«Заметь, что закладывать имение мне нельзя. Надобно будет перезаложить часть одного для заплаты снова в ломбард и об этом подумать. Не знаю, как сладим и что ты... придумаешь? Что сделать мне, дабы избежать твои огорчения?»

Уже за эти хлопоты Батюшков был в неоплатном долгу у своего шурина. Как бы ни относился он к Шипилову, портить отношения с ним ему невыгодно — иначе он рискует потерять все свое состояние. Это заставляет его быть предельно любезным, предупредительным, исключает всякую резкость в отношениях.

«Что же касается до осторожности со мною, то она излишня. Ты по опыту знаешь, что я не могу сделать тебе неудовольствие за твои заслуги. Я, кажется, с тех пор, как владею имением, а ты им управляешь, заслужил твою доверенность».

Батюшков помог Шипилову устроиться на место по учебной части в Вологодское ведомство, а потом добился, при посредстве влиятельных знакомых, должности директора Вологодской гимназии для него. Так что это «экономическое» сотрудничество было плодотворным для обеих сторон.

«Я благодарю тебя, любезный брат Павел Алексеевич, за поставление моих дел. Дружество дает мне некоторое право на твое попечение и заботливость. Продолжай, любезный друг, не забывай моих крестьян, их судьба вверена тебе совершенно...»

Но что крылось за этими витиеватыми словами о «вечном дружестве»? В записной книжке «Чужое: мое сокровище!» Батюшков отметил интересное явление: «Я заметил, что посреди великих чувств дружбы и любви имеются какие-то искры эгоизма, которые рано или поздно разгораются и дружбу и любовь пожирают». Это не о Шипилове, но...

Очень уж разными были эти два вологодских помещика, Батюшков и Шипилов. Батюшков — противоречивый, мятущийся человек, не определившийся сам для себя, страстно стремящийся отыскать истину. Шипи-

лов — несколько ограниченный и удовлетворенный своим высоким провинциальным положением и духовным бытием.

Батюшков, который «живет в искусстве». Шипилов, далекий и от литературы, и от иных муз. Ни в одном из тринадцати писем Батюшкова к своему шурина мы не встретим даже упоминания о его творческих замыслах, удачах и провалах, врагах и друзьях, литературных откровениях и смятениях... Зато — о делах и о деньгах более чем достаточно.

«Благодарю тебя, милый брат и друг, за посылку денег, а еще более за письмо твое, которое меня неписано обрадовало... Теперь прошу тебя снабдить меня путевыми способами и выслать к 10 ноября 1050 оброчных вдруг все. Остальные 500 до января можно отсрочить... Шутки в сторону, прошу тебя в будущем месяце снабдить меня тем элементом, который всех превосходит, не водкою, по Фалесу-мудрецу, но деньгами...»

Батюшков, неутомимый «странствователь», не мог усидеть на одном месте, изъездил всю Европу и половину России. Шипилов не любил выезжать за пределы губерний и предпочитал «домашний» образ жизни.

Батюшков снисходительно относился к французам. Шипилов искал в гувернеры к своему сыну Алеше именно француза.

«Лучше расстаться ранее, нежели взять в дом урода морального, каковы по большей части выходцы из земли Вольтеровой, или невежду... По совести, я ни одного не знаю француза, которому бы поручил моего сына, а с радостью отдал бы моих детей в Университетский пансион, который образовал лучших наших генералов, писателей, государственных людей... Вот мой совет. Если вы отбросите суетность и предубеждения деревенские, то увидите ясно, что я прав».

Шипилов не понимает «двойственного» Батюшкова. Батюшкову его шурина откровенно скучен.

В Батюшкове одновременно уживаются «белый» и «черный» человек. У него, как он сам замечает в записной книжке, «профиль дурного человека, а посмотришь в глаза, так найдешь доброго: надобно только смотреть пристально и долго». В Шипилове нет ни «черного», ни «белого», он однотонен, он обыкновенный «серый». По отношению к нему Батюшков выработал свое жизненное правило: «...Истинная опытность должна научать

снисхождению, без которого нет ни одной общественной добродетели: надобно жить с серыми или жить в Диогеновой бочке».

Между тем Шипилов вовсе не был «маленьким», никому не известным человеком. В том же Пушкинском Доме хранятся письма к нему Вяземского, Гнедича, Жуковского, президента Академии художеств А. Н. Оленина, декабриста Никиты Муравьева... Все эти письма так или иначе касаются до Батюшкова.

Но ни понять, ни принять своего знаменитого родственника Шипилов не в состоянии. Вот характерный эпизод:

1813 год, 4 октября. Знаменитая «битва народов» под Лейпцигом. Вот что сообщает об участии в ней Батюшкова Павел Шипилов (в письме к П. А. Вяземскому):

«Верные люди утверждают, что он (Батюшков.— В. К.) после Лейпцигского дела был на бале и — танцевал. Доказательство верно, что он не ранен; к большому же удовольствию утверждают, что он представлен к награждению орденом. Дай бог нам его увидеть кавалером поскорее!»¹

В сражении под Лейпцигом погиб И. А. Петин, один из лучших друзей Батюшкова, был ранен генерал Н. Н. Раевский. Так что на бале Батюшков (уехавший вместе с раненым генералом в Веймар) танцевать не мог. Да и был ли бал? «В «Воспоминаниях о Петине» Батюшков подробно описал следующий день после «битвы народов»:

«Этот день почти до самой ночи я провел на поле сражения, объезжая его с одного конца до другого и рассматривал окровавленные трупы. Утро было пасмурное. Около полудня полил дождь реками; все усугубляло мрачность ужаснейшего зрелища, которого одно воспоминание утомляет душу, зрелища свежего поля битвы, заваленного трупами людей, коней, разбитыми ящиками... В глазах моих беспрестанно мелькала колокольня, где покоилось тело лучшего из людей, и сердце мое исполнилось горестию несказанной, которую ни одна слеза не облегчала...»

А Шипилову не довелось увидеть «рек крови» — и он

¹ Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (в дальнейшем ЦГАЛИ), ф. 195, оп. 4, ед. хр. 98.

завистливо пишет о награжденном орденом «кавалере»... Ему не понять Батюшкова: у него другие «мыслительные категории».

Летом 1823 года Шипилов отправился в Симферополь к Батюшкову, уже пораженному душевной болезнью и дважды покушавшемуся на самоубийство. Деньги на эту поездку получил он от друзей поэта, наказавших ему непременно привезти Батюшкова обратно. Поручения Шипилов не исполнил: Батюшков наотрез отказался ехать с ним. И тогда Шипилов пишет Александре Николаевне: «Если б я издержал собственные мои деньги, то нисколько не жалел бы о поездке, ибо имел, по крайней мере, удовольствие побыть несколько дней с братом»¹. И в эту трагическую минуту помощь больному родственнику «мелкопоместный» Шипилов расценивает на деньги. Дружба — и деньги. Дело — и деньги.

Не был Шипилов и «плохим» человеком. Для Батюшкова он, действительно, сделал все, что мог, и оставался самым преданным из его опекунов после душевной болезни, постигшей поэта (об этом — ниже). У него после смерти поэта хранилась библиотека Батюшкова и его архив. В 1829 году Шипилов уехал из Вологды: он был переведен на должность директора 2-й Санкт-Петербургской гимназии, а позже — директора Гатчинского института. Он вернулся в Вологду, выслуживши пенсион, больной и расслабленный, лишь в 1847 году. Но и тогда, пока позволяло здоровье, он заботился о душевнобольном шурине...

Из письма П. А. Шипилова к П. А. Вяземскому, сентябрь 1847:

«...В тот же день хотел я навестить несчастного брата Константина, но, к сожалению, не нашел его дома, равно как и вчера сказали мне, что он выехал для прогулки; впрочем, отзывы о физическом его здоровье удовлетворительны, а умственные способности, как говорят, в хорошем состоянии»².

Шипилов был одним из немногих родственников Батюшкова, который сохранил его архив и библиотеку — это тоже надо оценить по достоинству. Архив, собранный им, уцелел и сейчас находится в Пушкинском До-

¹ ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 94.

² Там же, ед. хр. 76, л. 1 об.

ме. Библиотека — пропала... Не Шипилов тому виной (он умер в своей пригородной усадьбе Маклаково весной 1856 года — через несколько месяцев после Батюшкова), а последующая «забывчивость» владельцев этой бесценной библиотеки. Им не хватало как раз того, чего в избытке было у «обыкновенного» и «серого» Шипилова — подлинной доброты к ближнему и понимания ценности его наследия и его личности, даже если она и выходит за пределы обыденных представлений...

Ведь поэт — не норма для обыкновенных людей.

КОНСТАНТИН БАТЮШКОВ. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Применительно к Батюшкову «последние годы» — это половина жизни.

Батюшков родился 17 мая 1787 года, а умер 7 июля 1855 года. Жития его было 68 лет. В 1821 году его настигла неизлечимая психическая болезнь, и эта дата разделила жизнь поэта на два почти равные отрезка: 34 года до заболевания и 34 года после него...

Вести речь о том, что было «после», — дело тяжелое и неблагоприятное. Могут упрекнуть в бестактности. Могут рассудить, что об этом незачем подробно рассказывать. Могут обидеться за Батюшкова...

Может быть, лучше умолчать, ограничившись кратким упоминанием? Тем более, что это избавляет от тяжелой необходимости пересматривать документы психической болезни и всех страшных ее деталей...

«Не дай мне бог сойти с ума», — писал Пушкин в 1830 году под впечатлением тяжелого посещения больного Батюшкова. В 1843 году Белинский заметил о нем: «Превосходный талант этот был задушен временем. При этом не должно забывать, что Батюшков слишком рано умер для литературы и поэзии». А Батюшков был жив и жил в Вологде...

Еще при его жизни вокруг его болезни и вокруг ее «умолчания» появился рой сплетен и пересудов, и сплетни эти (поскольку официально о болезни поэта предпочитали умалчивать) распространялись, обрастали «детальями» и, наконец, дожили до нашего времени. Про сумасшедшего Батюшкова рассказывают, что, по слухам, он... Спрашиваешь, откуда эти «слухи»? Кто-то, где-то, что-то похожее то ли слышал от кого-то, то ли читал где-то...

«Слухам» можно противопоставить лишь известные документы, письма, воспоминания современников — то, что достоверно... И движимый чувством любви к Батюшкову и уважения к его памяти, начинаешь перелистывать грустные страницы...

1. НАЧАЛО

19 ноября 1818 года, во втором часу, перед обедом из Петербурга в Царское Село выехала большая компания известных нам людей. Катерина Федоровна Муравьева и сын ее Никита Муравьев, декабрист. Его двоюродный брат Михаил Лунин, тоже декабрист, и сестра его Екатерина Уварова. Много литераторов: Гнедич, Жуковский, Александр Тургенев, Александр Пушкин. Инженер Павел Львович Шиллинг, создатель телеграфа. И — Батюшков.

В Царском Селе их ожидал ужин с шампанским. Как писал А. И. Тургенев, они «горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили...»¹ Пушкин сочинил какой-то экспромт, который, к сожалению, не дошел до нас. Они провожали Батюшкова.

В девять часов вечера Батюшков выехал из Царского Села в Италию, где его ждала служба при Неаполитанской миссии, которой он так долго добивался.

Через год после этих памятных проводов у надворного советника и знаменитого поэта Батюшкова стали появляться первые признаки душевного расстройства.

Трудно сейчас точно сказать, что послужило поводом для этого: то ли трудная жизнь в Неаполе и непрестанные столкновения с властным графом Г. О. Штакельбергом, главой неаполитанской миссии, который официально заявил секретарю посольства Батюшкову, что он «не имеет права рассуждать»; то ли беспокоившие его болезни, с новой силой к нему привязавшиеся и сделавшие его раздражительным и грустным, ибо даже «блаженный климат» Неаполя не спасал от вечных недугов... Однако уже в 1820 году ипохондрия Батюшкова усилилась, а с января он почти прекратил переписку с родными и друзьями. Родные жалуются, что «от Константина Николаевича давно не получали извест-

¹ Из письма А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 20 ноября 1818 г. — В кн.: Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка кн. П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. СПб., 1899, т. I, с. 150.

тия»¹, а друзья объясняют, что «он, говорят, скучает и глупую работою замучен...»².

В декабре 1820 года, устав от неприятностей со Штапельбергом, Батюшков запросился в Рим, где посланником был добрейший старик А. Я. Италинский. Италинский принял Батюшкова ласково, но и в Риме ему почти не стало легче. Стихов он уже не пишет, о чем заметил еще 1 августа 1819 года в письме к Жуковскому («Посреди сих чудес, удивись перемене, которая во мне сделалась: я вовсе не могу писать стихов»). Более того, он почти перестает интересоваться литературой... Правда, в июле или в августе 1820 года Батюшков, как сообщает П. В. Анненков, прочитав стихотворение Пушкина «Юрьеву» («Любимец ветреных Лайс...»), скомкав листок бумаги, воскликнул: «О, как стал писать этот злодей!» В сентябре 1820 года А. И. Тургенев через некоего Поггенноля (которого «нагрузил письмами и посылками для Батюшкова») отправил ему новинки русской литературы, в том числе только что вышедшую поэму Пушкина «Руслан и Людмила»... Но и на это — ответа не было.

Друзья узнают о поэте лишь по слухам. В январе 1821 года в Варшаву, где служил тогда Вяземский, вернулось из Италии семейство Четверинских — а «Батюшков все хворал и... ни строки, ни слова не прислал мне через них...»³

Весной 1821 года Батюшков запросился в отставку. Италинский написал официальное прошение министру иностранных дел К. В. Нессельроде, в котором просил для Батюшкова «неограниченного отпуска, чтобы он смог позаботиться о своем здоровье». «Этот чиновник, — пишет Италинский, — достоин рекомендации, благодаря усердию, которое он проявлял в течение двух лет службы в Неаполе, несмотря на физические страдания (следствие тяжелых ранений)... а также благодаря его прекрасному поэтическому таланту, который делает его украшением своей родины»⁴ 26 апреля Александр I в

¹ Из письма П. Л. и С. А. Батюшковых к П. А. Шипилову, 30 августа 1820. — ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 64.

² Из письма П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу, конец августа 1820. — Остафьевский архив..., т. 2, с. 53.

³ Остафьевский архив..., т. 2, с. 144—145.

⁴ Оригинал по-французски. Напечатано в кн.: Майков Л. Батюшков, его жизнь и сочинения. СПб., 1896, с. 245.

Лейбахе подписал рескрипт об увеличении жалованья Батюшкова до 1500 рублей в год и о предоставлении ему «бессрочного отпуска» для лечения на водах.

В мае 1821 года Батюшков покинул Италию и отправился лечиться на места былых сражений — на курорты Германии, на минеральные воды Теплица. Недалеко от Теплица он получил свое «несчастное ранение» в 1807 году, там в 1813 году был убит его друг И. А. Петин. Как рассказывает Д. Н. Блудов, лечился Батюшков ожесточенно, принимая по две ванны семьдесят дней подряд (другие больные опасались «удара» после первой же ванны) — как будто возврат здоровья сулил обновить его существование.

Батюшков упрям. Батюшков борется. Батюшков вновь берется за стихи. В июне 1821 года он пересмотрел свои «Опыты в стихах» и начал подготовку нового издания: вычеркнул 10 стихотворений, а на чистых листах книги вписал 6 «Подражаний древним». Это — последний батюшковский цикл стихов, маленькие афористические зарисовки...

Когда в страдании девица отойдет
И труп синеющий остынет, —
Напрасно на него любовь и амвру льет,
И облаком цветов окинет.
Бледна, как лилия в лазури васильков,
Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов,
И суетно благоуханье.

Но тут крупные неприятности пришли с литературной стороны. На страницах журнала «Сын Отечества» появилось стихотворение молодого поэта П. А. Плетнева «Б.....ов из Рима». Оно появилось без подписи и было принято многими (в том числе и Карамзиным) за произведение Батюшкова. В элегии от имени Батюшкова делались признания, что он скучает за границей, забыл забавы прежних лет и влачит дни без славы. Батюшков воспринял «пасквиль» как оскорбление своей чести, как «голос», который предрекал конец развитию его таланта...

«Гг. издателям «Сына Отечества» и других русских журналов

Чужие края. Августа 3-го н. с. 1821 г.

Прошу вас покорнейше известить ваших читателей, что я не принимал, не принимаю и не буду принимать ни малейшего участия в издании журнала «Сын Отечества»... Дабы впредь избежать и тени подозрения, объявляю, что я, в бытность мою в чужих краях, ничего не писал и ничего не буду печатать с моим именем. Оставляю поле словесности не без признательности к тем соотечественникам, кои, единственно в надежде лучшего, удостоили ободрить мои слабые начинания. Обещаю даже не читать критики на мою книгу: она мне бесполезна, ибо я совершенно и, вероятно, навсегда покинул перо автора.

Константин Батюшков».

А. С. Пушкин — брату Льву, 4 сентября 1822. Из Кишинева в Петербург: «Батюшков прав, что сердится на Плетнева; на его месте я бы с ума сошел со злости — «Б. из Рима» не имеет человеческого смысла... Вообще мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи, — он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его бледен, как мертвец. Кланяйся ему от меня (т. е. Плетневу, а не его слогу) и уверь его, что он наш Гете».

После этого случая Батюшков не пишет даже писем, и лишь в короткой записке Италинскому сообщает о своем отъезде из Теплица: «Теперь нахожусь в Дрездене, чтобы переждать дождливую погоду и потом уже отправиться во Францию...»

Друзья и родные не знают, где он. 30 сентября Н. М. Карамзин пишет Вяземскому: «Наш поэт Батюшков ссорится и с потомством, и с современниками, не хочет ничего писать, ни служить, ни быть в отставке, ни путешествовать, ни возвращаться в Россию, то есть он в ипохондрии, по рассказам Блудова. Жалко и больно...»¹ В начале октября о том же пишет А. И. Тургенев: «Батюшков очень хандрит, всех разлюбил и, по словам Блуд<ова>, он близок к худшему роду меланхолии»².

Наконец, 4 ноября 1821 года к Батюшкову в местечко Плаун под Дрезденом заехал путешествовавший по Европе Жуковский и записал в дорожном своем дневнике: «С Батюшковым в Плауне. *Хочу заниматься.* Раз-

¹ Старина и новизна, 1897, кн. 1, с. 118.

² Остафьевский архив..., т. 2, с. 216.

дранье писанного. *Надобно, чтобы что-нибудь со мною случилось.* Тасс; Брут; Вечный Жид; описание Неаполя». Эти отрывочные записи повествуют о том, что Батюшков раскрыл перед своим другом мрачное состояние души и намерение оставить литературу. Последние слова — перечень последних произведений Батюшкова, уничтоженных им в порыве отчаяния... Тогда же Батюшков вписал в альбом Жуковского нечто вроде послания — или прощания:

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!..
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет.

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому, 7 февраля 1822. Из Петербурга в Варшаву: «...Вчера Жуковский возвратился, видел Батюшкова в Дрездене, слышал прекрасные стихи, которые он все истребил».

Батюшков уже «переступил грань». Началась тяжелейшая болезнь, которая медленно, но неуклонно забирала его в свои лапы.

Современники объясняли болезнь Батюшкова по-разному: то будто бы тем, что Батюшков знал о существовании декабристских обществ и, будучи монархистом, испугался их распространения¹; то представляли его несчастное положение следствием какой-то трагической, поздней любви (эта версия отразилась позже в переписке Пушкина²).

Но тут вряд ли стоит придумывать какие-то «внешние» причины. Доктор Антон Дитрих (о котором речь впереди) объяснил наклонность поэта к психическому заболеванию генетически. По ряду свидетельств, ею страдал дядя поэта, Илья Андреевич Батюшков. Мать поэта в 1791 году, после рождения младшей дочери, сошла с ума и в 1795 году умерла. Такая же участь, веро-

¹ Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти, изд. 2-е. М., 1869, с. 197; Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 406.

² См. свидетельство доктора Ланга, лечившего поэта в Симферополе: Русский архив, 1899, кн. II, с. 574—575. См. также: Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927, с. 183.

ятно, постигла старшую сестру поэта Анну (умершую после краткой болезни в 1808 году). В 1829 году тяжелейшая душевная болезнь поразила и сестру Александру Николаевну (умерла в 1833 году и похоронена в селе Никольском Ярославской губернии). В 1870 году эта же болезнь поразила и внучатого племянника Батюшкова П. Г. Гревенца, который в припадке сумасшествия застрелился...¹

Тяжелую наследственность Батюшков начал осознавать давно. Вот характерное замечание его в письме к Жуковскому 1816 года: «С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло с годами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли — не знаю...» Признание удивительное: в нем выявляется вся незаурядная натура поэта, с юности противопоставлявшая его наследственной химере свою исключительную волю.

Тот же А. Дитрих пишет, что болезнь отчасти объяснялась и душевным складом поэта, в котором «воображение брало решительный перевес над рассудком». И далее: «Страстность натуры Батюшкова была хорошим материалом для развития в нем психической болезни, а случайности жизни, отчасти в самом деле бедственные, а порой представлявшиеся ему таковыми, содействовали развитию недуга»².

Как бы то ни было, к 1821 году болезнь началась: она еще не приняла резких форм, но сказывалась постоянным стремлением уйти от людей, раздражительностью, ипохондрией, а иногда — бурными, ничем не объяснимыми порывами... Но Батюшков еще борется.

2. О ТОМ, ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ

«Повеление» Александра I от 8 мая 1824 года, сохранившееся в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки в Ленинграде, состоит из четырех пунктов:

¹ См. свидетельство П. А. Ефремова: Русская старина, 1883, т. XXXIX, № 9, с. 548.

² Оригинал по-немецки. Записка А. Дитриха о душевной болезни Батюшкова опубликована в кн.: Майков Л. Батюшков, его жизнь и сочинения, с. 263—287. Там же собран ряд документов последнего периода жизни поэта, ссылки на которые специально не оговариваются.

«1. Объявить (Батюшкову. — В. К.), что прежде изъявления согласия на пострижение государю угодно, чтоб он ехал лечиться в Дерпт, а может быть, и далее.

2. Выдать В. А. Жуковскому пожалованные 500 (червонцев. — В. К.) на путевые издержки Батюшкова.

3. Назначить для сопровождения курьера, который возвратится из Дерпта, если Батюшков там останется, или проводит его до Зонненштейна в противном случае.

4. Выдать паспорт для Батюшкова, сестры его и курьера»¹.

Предшествовали этому «повелению» события не очень веселые.

14 марта 1822 года, после дрезденской зимы, Батюшков неожиданно приехал в Петербург, где поселился в Демутовом трактире, почти никого не посещая и не принимая к себе. Через месяц он обратился к графу К. В. Нессельроде с просьбой разрешить ему поездку «на Кавказ и в Тавриду», ибо «состояние мое требует снова принятия теплых ванн и морских ванн» (оригинал по-французски).

Отзывы из писем и воспоминаний друзей этого периода отражают смутную, но все нарастающую тревогу за Батюшкова.

Н. М. Карамзин — П. А. Вяземскому, 20 марта 1822. Из Петербурга в Москву: «Батюшков возвратился меланхоликом, ипохондриком, мрачным и холодным: остановился у Демута; сидит в своей комнате и не расположен часто видаться с нами; однако ж провел у нас вечер кое-как...»

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому, 21 марта 1822. Из Петербурга в Москву: «Батюшков все еще хандрит, живет у Демута и не переезжает к Мурав<ьевым>. Мы недавно были у него, много страшнее, но иногда говорит, хоть отрывисто, но умно...»²

А. Е. Измайлов — И. И. Дмитриеву, 6 апреля 1822. Из Петербурга в Москву: «Он, как говорят, почти помешался и даже не узнает коротко знакомых. Это следствие полученных им по последнему месту неприятностей от начальства. Его упрекали тем, что он писал стихи и потому считали неспособным к дипломатической службе...»

¹ ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 6.

² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2889, л. 282а.

Батюшков, пишет Карамзин, «заперся от дружбы; сердце его глухо для ее голоса». Батюшков вновь куда-то уезжает...

В. А. Жуковский — П. А. Вяземскому, первая половина мая 1822. Из Петербурга в Москву: «...Батюшков едет на Кавказ! возможно, поедет он через Москву: может быть, зайдет и к тебе, но ты не очень этому верь! он может еще и не заглянуть к тебе. Стереги его. Я у него бываю: но он ко мне ни ногой. Иногда по-старому обходимся друзьями, иногда дик и холоден...»¹

Н. И. Гнедич — П. А. Вяземскому, 17 мая 1822. Из Петербурга в Москву: «Здесь мелькнул Батюшков, или, лучше сказать, видение из берегов Леты, существо, впрочем, покрытое плотию цветущею, как и прежде, но забывшее все прежнее до самой дружбы. Он уехал — «рукой махнул и скрылся!» Уехал в Крым, на Кавказ и еще куда-нибудь — искать здоровье, которое у чудака совершенно здоровое. — Как не повторить за ним: «Сердце наше кладезь мрачный!»²

В августе 1822 года Батюшков (так и не заехав к Вяземскому) прибыл в Симферополь к тамошнему знаменитому психиатру доктору Мюльгаузену: прибыл сам, без чьего-либо понуждения. Батюшков лечится. Батюшков иступленно борется против мрака, окутывающего его...

А. С. Пушкин — родным, 21 июля 1822. Из Кишинева в Петербург: «Мне писали, что Батюшков помешался: быть нельзя; уничтожь это вранье».

Д. В. Давыдов — П. А. Вяземскому, конец октября 1822. Из Петербурга в Москву: «Забыл сказать тебе, что из Крыма получено известие, что Батюшков совершенно рехнулся...»³

К осени 1822 года болезнь Батюшкова приняла совершенно определенный характер сумасшествия на почве мании преследования. До друзей, наконец, дошли страшные вести, не оставлявшие уже никаких сомнений.

26 декабря В. А. Жуковский пишет Вяземскому: «Теперь о главном: вот выписки из письма-доклада Мюльгаузена о Батюшкове: из него увидишь, в каком он теперь положении. Напиши к нему немедленно: я уже писал и еще буду писать. Не надобно, однако, в письме

¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1909, лл. 16 об. — 17.

² Там же, ед. хр. 5082, л. 99.

³ Старина и новизна, 1917, кн. XXII, с. 31.

своим говорить, что знаешь о его болезни; надобно стараться пробудить в нем старого человека. Отсюда писали к его зятю Шипилову в Вологду, чтобы он за ним поехал. Если ему будет нельзя, то собирается поехать Гнедич. Что если бы ты съезжал — было бы всего, всего лучше. Если только он не побоится тебя: воображение его напугано...»

В тот же день Никита Муравьев пишет П. А. Шипилову о больном Батюшкове: «...его невозможно оставить на собственный произвол его; надобно непременно предохранить его от самого себя и привезти сюда» — Муравьевы ссужают Шипилова двумя тысячами рублей на эту поездку¹. 4 января с той же просьбой обращается к Шипилову Вяземский², а через пять дней А. И. Тургенев замечает: «Сегодня ожидают или самого Шип<илова>, или ответа его. Если он не поедет, то отправится Гнедич в коляске Муравьевой и на счет ее, Все готово»³.

Переписка с Шипиловым шла до конца января, и 14 февраля тот прибыл в Симферополь — к Батюшкову. От 19 февраля сохранились два свидетельства о самочувствии больного. Первое — письмо Шипилова к А. Н. Батюшковой: «Состояние, в каком увидел я милого нашего брата, гораздо лучше, нежели можно вообразить себе в отсутствии. С удовольствием встретил он меня, с свойственным участием расспрашивал о всех, не только о родных или друзьях его, но даже о людях почти совсем посторонних... К сожалению моему, брат не хочет слышать об отъезде из Симферополя, и решимость (довольно тебе известная) столько непоколебима кажется, что, не знаю, и вызов министра едва ли заставит переменить ее...»⁴

Д. А. Кавелин в письме к Жуковскому того же дня объективнее, и факты, сообщенные им, настораживают: Батюшков «никого не принимает», и в то же время с Кавелиным был «ласков», расспрашивал о друзьях, «о Катерине Федоровне Муравьевой, о Никите Муравьеве и об Олениных, говорил очень хорошо, пока не коснулся гонений». С его слов, — он несколько раз хотел покончить с жизнью, но не решался. Все говорит о ка-

¹ ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 70.

² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 332.

³ Остафьевский архив..., т. 2, с. 295.

⁴ ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 38.

ких-то «гонениях», а однажды сжег свою библиотеку, оставив только евангелие...»¹

А. С. Пушкин — брату Льву, начало января 1823. Из Кишинева в Петербург: «Батюшков в Крыму. Орлов с ним видался часто. Кажется мне, он из ума шутит».

В марте-апреле состояние Батюшкова вовсе ухудшается.

Таврический губернатор Н. И. Перовский — К. В. Несельроде. 15 марта 1823. Из Симферополя в Петербург: «Господин граф! Вы, без сомнения, уже осведомлены о плачевном состоянии г-на Батюшкова. С августа месяца, как он прибыл сюда, несмотря на заботы г-на Мюльгаузена, несмотря на все то, что я смог сделать, его состояние продолжает ухудшаться... Пятнадцать дней тому назад он перерезал себе горло бритвой; рана не была смертельна, ее быстро вылечили, но стремление его лишиться себя жизни бесповоротно... За ним следят, как только возможно, но все же опасно держать его в краю, где нет к тому надлежащих средств и людей, близких ему...» (оригинал по-французски).

За два дня до этой попытки самоубийства Шипилов выехал из Симферополя: «...Брата Константина Николаевича, невзирая на все мои просьбы, убеждения возвратиться со мною, должен был я оставить, не исполнив теушкиного поручения...»

В марте 1823 года Батюшков составляет, в виде письма к Н. И. Перовскому, свое завещание, в котором просит об одном: дать воспитание своему сводному брату Помпею. «Обреченный року», он мечтает о смерти, понимая, что только смерть избавит его от безумия:

«Прикажите похоронить мое тело не под горою, но на горе. Заклинаю воинов, всех христиан и добрых людей не оскорблять моей могилы.

Желаю, чтобы родственники мои заплатили служанке, ходившей за мною во время болезни, три тысячи рублей; коляску отдать в пользу бедных колонистов, если есть такие; заплатить за меня по счетам хозяину около трех тысяч рублей; вещи, после меня оставшиеся, отдать родственникам, белье и платье сжечь или нищим; человека Павла, принадлежавшего К. Ф. Муравьевой, отправить к ней; бывшему моему крепостному человеку Якову дать в награждение три тысячи рублей».

¹ ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 54.

П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу, 9 апреля 1823. Из Москвы в Петербург: «Мы все рождены под каким-то бедственным созвездием... Бедный Батюшков один в Симферополе, в трактире, заброшенный на съедение мрачным мечтам расстроенного воображения, есть событие, достойное русского быта и нашего времени...»¹

Н. И. Перовский — К. В. Нессельроде. 19 апреля 1823. Из Симферополя в Петербург: «Состояние его день ото дня ухудшается, и я едва ли сохраню его живым. Он делал несколько попыток самоубийства, которые, к счастью, предотвращались мерами, принятыми мною. Он хотел выброситься в окно, пытался убежать, требовал несколько раз, чтобы я воротил ему шпагу и бритву... Пока доктор Мюльгаузен не перестает навещать его, и он всегда настаивает, чтобы ему предоставили полную свободу и настойчиво хочет покончить с собой... Я не имею средств ни утешить его, ни предотвратить неминуемое несчастье» (оригинал по-французски).

21 апреля 1823 года Батюшков был насильно отправлен Перовским в Петербург (в сопровождении доктора Ланга и двух санитаров) — и 6 мая благополучно туда доставлен. Через день А. И. Тургенев в письме Вяземскому описал состояние друга: «С Никитой (Муравьевым. — В. К.), также и с сестрой своей очень хорош и нежнее нежного. В тот же день был у него Блудов; поутру Карамзин и Оленин... Со всеми говорит о своей болезни и показывает рану, еще не совсем зажившую...»

А. И. Тургенев в то время почти ежедневно писал обстоятельные письма к Вяземскому — и в них он обязательно касается здоровья Батюшкова.

18 мая: «Батюшков опять сильно хандрит. Вчера вечером поручил Жуковскому своего брата и издание своих сочинений. Но после до первого часа мы у него сидели, и шутки Блудова оживили его и его остроумие. Он шутил с нами и насчет литераторов, и сам цитировал стихи...»

22 мая: «Все еще говорит о смерти, о издании своих сочинений с Жуковским, к которому показывает более доверенности...»

1 июня: «Батюшков все тот же: упрямится и не хочет переезжать на дачу. Врет сильнее прежнего...»

¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2888, л. 34.

12 июня: «Возненавидел все семейство Муравьевых: не едет к ним на дачу, а нанимает свою...»

7 августа: «...Батюшков все таков же. На ту же дачу приехала какая-то сумасшедшая дама и с ним познакомилась. Вчера я говорил с Реманом: нужен лекарь для него особый, но еще не найден; он обещал приняться лечить его...»

Бывают и минуты просветления. 14 июля 1823 года Д. Н. Блудов сообщает в письме В. А. Жуковскому: «Батюшков велел кланяться тебе и сказал, что *он сдержит слово во всей силе слова...* и потом сочинил экспромтом пародию твоих стихов к нему, прибавив:

Как бешеный, ищу развязки
Своей непостижимой сказки,
Которой имя: свет!»¹

А П. А. Вяземскому при встрече он сказал: «Что писать мне и что говорить о стихах моих?.. Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди, узнай теперь, что в нем было!..»

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому, 21 марта 1824. Из Петербурга в Москву: «На сих днях Батюшков читал новое издание Жуковского сочинений, и когда он пришел к нему, то он сказал, что и сам написал стихи. Вот они:

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез.
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Записка о нем готова. Мы надеемся скоро отправить его в Зонненштейн».

Да, друзья хлопочут о направлении больного поэта в знаменитую немецкую лечебницу... Из писем Жуковского к Вяземскому:

— «Вчера я обедал у нашего Батюшкова... Все, что он говорил со мною, не показывает сумасшествия, если, конечно, не коснешься главного: его любви, друзей, пра-

¹ Русский архив, 1902, кн. II, с. 344.

вительства... Всякий раз, когда прихожу к нему, приношу что-нибудь читать: слушает, делает умные замечания... Одно из двух: или решиться лечить его — тогда в Зонненштейн! Здесь и думать нечего! Или отказаться от лечения, отдать его на руки родичам и перевезти в деревню — но как же на это решиться?»

— «...Я писал в Берлин и получил уже ответ: Зонненштейн принимает и со стороны. Сестра поедет с ним, и государь, вероятно, даст все, что нужно для его перевезения туда...»¹

В апреле Батюшков подал прошение царю, в котором высказал желание «немедленно удалиться в монастырь на Белоозеро или в Соловецкий» и постричься в монахи.

В ответ на это прошение и последовал приведенный выше рескрипт Александра I.

3. ЗОННЕНШТЕЙН

Волшебный край, то светлый, то угрюмый!
Живой кипсек всех прелестей земли!
Но облаком в душе засевшей думы
Развлечь, согнать с души вы не могли.

Я предан был другому впечатленью, —
Любезный образ в душу налетал,
Страдальца образ — и печальной тенью
Он красоту природы омрачал...

(П. А. Вяземский. «Зонненштейн»)

10 мая 1824 года Жуковский вместе с доктором Бауманном повез Батюшкова в Дерпт: с этим городом у поэта были связаны приятные воспоминания, и он охотно поехал. Однако из Дерпта, где его хотели устроить в клинику к известному врачу И. Ф. Эрдману, Батюшков бежал... «...Он ушел, — сообщает А. И. Тургенев в письме Вяземскому, — и всю ночь его найти не могли; наконец, поутру на другой день проезжий сказал молодому Плещееву, что видел верст за 12 от Дерпта человека, сидящего на дороге. По описанию, это был Батюшков; Жуковский с Плещеевым поехали и нашли его спящего. Едва уговорили возвратиться с ними в Дерпт».

Поэтому 17 мая, не задерживаясь долее, Жуковский довез Батюшкова до Полангена, а там, в сопровождении доктора Бауманна, больной доехал до Зонненштейн-

¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1909, лл. 229 об. — 230 об., 232.

на, курортного местечка неподалеку от Дрездена, на величавом берегу Эльбы. Вслед за ним сразу же приехали туда сестра Батюшкова Александра и Елена Григорьевна Пушкина.

Посланник в Дрездене В. В. Ханыков — К. В. Нессельроде, 26 июня 1824. Из Дрездена в Петербург: «...Я сразу узнал, что он только что приехал в Дрезден вместе с доктором Бауманном, которого сопровождал де Дорпа, и что он в состоянии сумасшествия и постоянного раздражения. Уже в день приезда у него были сильные припадки, он пытался, несмотря на присмотр, убежать. Тем не менее, он был доставлен в Зонненштейн и отдан доктору Пинитцу... В мой приезд я нашел здесь мадемуазель Батюшкову, которая собирается устроиться в Пирне, чтоб иметь возможность посвятить себя заботам о несчастном брате...» (оригинал по-французски).

В Зонненштейне, в частной больнице доктора Пиница, Батюшков лечился четыре года. Там он находится почти в полном одиночестве, лишь изредка его посещают друзья.

Н. И. Тургенев (август 1824): «Войдя в ворота, первый, попавшийся мне навстречу, был Батюшков: лицо мрачное; он шел по другой стороне и меня не узнал. Лекарь после сказал мне, что я хорошо сделал, и не свел меня с ним. Он говорит, что теперь ему немного лучше. Прежде он воображал, что он в тюрьме, но Ханыков написал ему, что он в *Maison de santé*, и он стал спокойнее»¹.

А. И. Тургенев (6 августа 1825): «Осмотрев все заведение и полюбовавшись окрестностями, кои издали прелестны, мы пошли в квартиру док<тора> вне больницы, в которой содержит он 4 пансионеров и где живет и Ал. Ник. Бат<юшкова>. Она вся задрожала, когда нас увидела, едва в силах была говорить и успокоилась не скоро. Первое слово ее было о брате... Она видела только один раз брата, провела с ним целый день, но он сердился на нее, полагая, что она причиною его заточения»².

Постоянно возле больного (хотя редко встречаются с ним) его сестра и Е. Г. Пушкина. 23 марта 1825 года последняя радостно сообщает Жуковскому, что «наш

¹ Остафьевский архив..., т. 3, с. 70—71.

² Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.) М.—Л., 1964, с. 288—289.

несчастный друг подчиняется, наконец, последовательному лечению», что «он согласился принять врача», что «сны его также стали спокойнее». «Надеемся, что продолжение лечения возвратит нам драгоценное здоровье этого дорогого больного» (оригинал по-французски).

В августе 1826 года проездом в Зонненштейне был Жуковский и говорил с А. Н. Батюшковой о здоровье Константина. По инерции еще идут обнадеживающие известия: Батюшкову лучше, доктор Пинитц надеется «на время и доверенность своего больного»¹...

Здесь он страдал, томился здесь когда-то,
Жуковского и мой душевный брат,
Он, песнями и скорбью наш Торквато,
Он, заживо познавший свой закат...

(П. А. Вяземский. «Зонненштейн»)

К. Н. Батюшков — В. А. Жуковскому, 28 марта 1826, в Дрездене: «Выбитый по щекам, замученный и проклятый вместе с Мартином Лютером на машине Зонненштейна безумным Нессельродом, имею одно утешение в боге и дружбе таких людей, как ты, Жуковский. Надеюсь, что Нессельрод будет наказан, как убийца. Я ему никогда не прощу, ни я, ни бог правосудный, ни люди добрые и честные. Утешь своим посещением: ожидаю тебя с нетерпением на сей каторге, где погибает ежедневно Батюшков».

Д. В. Дашков — П. А. Вяземскому, 18 июля 1827. Из Петербурга в Москву: «Горестна участь всех друзей наших. Карамзины осиротели. Болезнь Батюшкова объявлена неизлечимой...»²

Он в мире внутреннем ночных видений
Жил взаперти, как узник средь тюрьмы,
И был он мертв для внешних впечатлений,
И божий мир ему был царством тьмы.

(П. А. Вяземский. «Зонненштейн»)

Впрочем, о «царстве тьмы», кажется, несколько преувеличено. Батюшков, как истинный художник, впав в безумие, все-таки живет в сфере особых художественных интересов, связанных еще с одним его талантом...

¹ Из письма А. Н. Батюшковой к В. А. Жуковскому от 4 марта 1827 г. — ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 49.

² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1820, л. 24 об.

4. РИСУНКИ ПОЭТА

Русские писатели первой половины XIX века отличались разносторонней талантливостью. Очень характерно, что многие из них проявили себя и как художники, рисовальщики. До нас дошло много зарисовок, офортов, гравюр В. А. Жуковского. Рисунки пером А. С. Пушкина поражают гениальной точностью линий. Общеизвестен художнический талант М. Ю. Лермонтова. Великолепные рисунки остались от Е. А. Боратынского, Д. В. Веневитинова, А. А. Дельвига...

Батюшков тоже был наделен самобытным художническим даром. В 1828 году, в Зонненштейне, в один из редких моментов просветления, он с горечью признался сестре Александре (это признание зафиксировано в дневнике А. Дитриха): «Да, я обладал талантом к сочинительству и мог бы быть также и живописцем, и скульптором; бывало, занимался целыми днями: то читал, то писал, то ездил верхом, — теперь же все пошло прахом...»¹

«Талант к сочинительству» Батюшкова воплотился в замечательные образцы стихов и прозы. О таланте художника и скульптора мы можем судить лишь по нескольким десяткам сохранившихся рисунков и акварелей. Этих рисунков было куда больше, но они, как и многие литературные произведения Батюшкова, частью были уничтожены самим поэтом, частью затерялись в потоке непамятного времени...

Батюшков не был «чистым» любителем «художества», как, например, Пушкин. В его рукописях не встретишь «ни женских ножек, ни голов». Он не творил тут же, на полях черновых рукописей. Он с детства привык относиться к живописи очень уважительно. Еще 12-летним мальчиком, воспитанником пансиона О. П. Жакино в Петербурге, он пишет отцу: «При сем я вам посылаю рисунок моей работы, да надеюсь к вашему приезду другой большой кончить, кой я теперь начал». А через год, в письме отцу от 11 ноября 1801 года, опять упоминание о живописи: «Рисую я большую картину карандашом, Диану и Эндимиона... но еще и половины не кончил, потому что сия работа ужасно медленна; начатую же картину без Вас кончил, и пришлю с Васильем».

¹ Дневник А. Дитриха (на немецком языке) см.: ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 41—42.

Этих детских картин и рисунков, вероятно, не сохранилось...

В 1807 году, живя в Петербурге, Батюшков сблизился с семьей А. Н. Оленина, покровителя искусств. Его салон охотно посещали и писатели, и художники. Среди последних — О. Кипренский, Ф. Толстой, Н. Уткин, А. Есаков. В салоне господствовало преклонение перед классическими образцами античности, пропагандировался новый для искусства стиль «ампир». Когда в 1817 году Батюшков услышал о назначении Оленина президентом Академии Художеств, он поспешил поздравить его в шуточных стихах: «Наконец у нас президент...

Который без педанства,
Без пузы барской и без чванства,
Забот неся житейский груз
И должностей разнообразных бремя,
Еще находит время
В снегах отечества лелеять знобких муз,
Лишь для добра живет и дышит,
И к сим прибавьте чудесам,
Как Менгс — рисует сам,
Как Винкельман красноречивый — пишет»...

Выражением вкусов кружка Оленина явилась и классическая статья Батюшкова «Прогулка в Академию Художеств» (1814), которая стала первым опытом историко-культурного очерка в русской литературе. В этой статье через развитие архитектуры, изобразительных искусств, художественной жизни он сумел показать русскую культуру вообще, ее прошлое, настоящее, перспективы ее будущего. В 1933 году искусствовед А. М. Эфрос так оценил «Прогулку в Академию Художеств»: «Батюшков был Колумбом русской художественной критики... Живость воображения, тонкость вкуса, свободная манера письма и уверенность критического суждения кажутся нам пленительными даже спустя столетие»¹. Огромное влияние оказала эта статья на формирование художественных вкусов молодого Пушкина...

Эти же мотивы отразились и в рисунках поэта. Большинство из них создавалось в минуты творческих раздумий, пауз, неудовлетворенности написанным. Это — рисунки «для себя». Отражая неожиданные ассоциации, отвлечения, обнажая самый ход размышлений, они по-

¹ Эфрос А. Рисунки поэта. Л., 1933, с. 92—95.

могут проникнуть в ту мысль, образ, чувство поэта, которые не выразились в словах. Здесь и автопортреты, и портреты друзей, карикатуры, профили, пейзажные наброски, иллюстрации к стихотворениям, своим и чужим, затейливые росчерки и виньеты.

Интересны автопортреты Батюшкова. Несмотря на беглость и эскизность письма, они очень живы и выразительны. Вот молодой Батюшков такой, каким он видит себя в 1807 году, отправляясь в действующую армию («Вообрази меня едущего на Рыжаке по чистым полям, и я счастливее всех королей, ибо дорогою читаю Тасса...»). А через месяц-другой автопортрет: Батюшков на костылях, и свой портрет посылает «вместо имени» Гнедичу («Признаюсь, что на костылях я крайне забавен...»). Вот автопортрет в зеркале, с которого на нас смотрит трогательное, доверчивое, почти детское лицо: он обладает той обаятельностью, которой в действительности обладал Батюшков, — не случайно именно с него В. В. Матэ сделал известную гравюру.

А вот набросок автопортрета 1823 года: поэт уже на грани безумия. Здесь уже ни наивности, ни вдохновения: похудевшее, усталое лицо, мешки под глазами, скорбно сжатые губы. И надпись возле портрета, цитата из стихотворения «Привидение»: «Посмотрите: в двадцать лет Бледность щеки покрывает... Константин Николаевич Батюшков. Приятный стихотворец и добрый человек». Ниже рукою А. С. Пушкина (сохранившего этот портрет) дописано: «Им самим рисованный»...

До нас дошли две иллюстрации Батюшкова к собственным стихам. Одна из них относится к 1809 году: она изображает Амура, поймавшего бабочку, а под ней — стихотворение «Пафоса бог, Эрот прекрасный...» Этот рисунок хранится в Государственной публичной библиотеке, а в Пушкинском Доме — другой, изображающий фигуру молодой женщины перед стволом дерева, увитым диким виноградом (а рядом — автограф стихотворения «Явор к прохожему»).

Характерные портреты Батюшкова-художника хранятся в Публичной библиотеке: профиль мужчины в военном мундире (предположительно это друг Батюшкова И. А. Петин); профиль поэта в условном наряде (предположительно Байрон); монах в рясе; женское личико под вуалью и в шляпке; еще женское лицо, но уже с гладко прибранными волосами — вероятно, крестьянка...

В составе письма П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу сохранилась озорная карикатура Батюшкова на Вяземского. Буквально несколько штрихов — и перед нами веселый, полнеющий человек в круглых очках, кудрявый и добродушный. За очками не видно глаз, что и подчеркивает надпись под портретом: «Без образа лица...»

В последние годы жизни больной Батюшков очень активно занимается живописью и скульптурой. А в Зонненштейне они становятся его единственным утешением. В дневнике А. Дитриха то и дело находим характерные пометы: «На рисование приналег с таким усердием, что еле отвечает на предлагаемые доктором вопросы. Во многих оконченных рисунках блещет талант»...

Или: «Содержание большей части картин относится к обстоятельствам заточения Тассо, изображает самого поэта, которого Батюшков любил больше всех писателей, отчасти, может быть, потому, что судьба их схожа...»

Или: «...Снова занят своими восковыми фигурами; требовал мел для исправления нарисованной на стене головы Христа, уголь добыл себе сам...»

Дитрих в дневнике указывает на необычайное разнообразие художественных интересов больного Батюшкова: то он лепит восковые фигуры брата и сестер, отца, Жуковского, Александра I, великого князя Константина Павловича, то рисует цветы с натуры или какие-то «нездешние» пейзажи.

В 1828 году Жуковский в письме А. И. Тургеневу замечал: «Батюшков беспрестанно занят рисованием. Жихарев прислал мне один рисунок его. Видно, что он над ним трудился, и прилежно»¹.

Через тридцать последних лет жизни Батюшкова сквозной нитью проходит один пейзаж, одна тема. Н. В. Берг, посетивший Батюшкова в Вологде в 1847 году и оставивший интересный портрет больного поэта, так описывает этот, наиболее частый рисунок Батюшкова последних лет: «На картинках его всегда одно и то же изображение: белая лошадь пьет воду; с одной стороны деревья, раскрашенные разными красками — желтой, зеленой и красной, — ...с другой стороны замок, вдали море с кораблями, темное небо и бледная луна».

¹ Русский архив, 1895, с. 247.

Этих рисунков сохранилось много, и все они почти одинаковы, хотя одни написаны в 30-е годы, другие — в 50-е...

5. ДНЕВНИК ДОКТОРА ДИТРИХА

О самом докторе Антоне Дитрихе мы знаем мало. Знаем, что он ухаживал за больным Батюшковым с 21 февраля 1828 года до середины 1830 года. Он доставил его из Зонненштейна в Россию и жил при нем в Москве, пока была хоть какая-то надежда на излечение. И все это время он с завидной немецкой аккуратностью и педантичностью вел ежедневный «дневник болезни» выдающегося русского поэта.

Доктор Дитрих был не чужд литературе и даже переводил на немецкий язык стихотворения Жуковского, Вяземского и самого Батюшкова (он перевел послание «Мои Пенаты»). Всей душой он хотел вернуть поэта жизни и творчеству. Поэтому сухие, протокольные строки его дневника интересны не только для специалистов-психиатров. Они раскрывают упорную борьбу врача, влюбленного в стихи своего пациента, и мучительные переживания человека, борющегося с нарастающим безумием и не отступающего перед его бездной.

Батюшкова Дитрих называет просто «он», «больной»...

«Дневник болезни надворного советника и кавалера русского императорского двора г. Константина Николаевича Батюшкова» дошел до нас в копии (на немецком языке, переведенной в середине XIX века — ОР ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 41, перевод — ед. хр. 42). Он ни разу, по понятным причинам, полностью не публиковался. Мы также не приводим его полностью, выбирая лишь самые характерные небольшие отрывки...

4 марта /21 февраля по старому стилю/ 1828 года Дитрих занес в дневник первую запись: «У больного насморк и кашель; состояние духа покойное. С доктором Пинитцем он обошелся дружески... На Жуковского он очень сердит...»

22 февраля /5 марта: «...Он показывал восковой слепок с портрета брата, хотя и не особенно сделанный, но, по его словам, очень схожий с оригиналом. Жалуется на ослабление памяти... Не приходя в возбуждение, он несколько раз повторял: «Я еще не совсем дурак!»

27 февраля /10 марта: «На слова его можно положиться — он всегда держит их. Ночные похождения окончились».

14/26 марта: «Жаловался на боль в ноге, что, вероятно, связано с развивающимися припадками ломоты, от которых умерли его отец, дед и прадед... Сегодня утром послал своей сестре через доктора Пинитца восковой портрет отца, сделанный небрежно, но очень похожий...»

4/16 апреля: «Больной отлично сознает, насколько пострадал его рассудок. О родных говорил много и очень тепло, не вспомнил только Муравьевых, сосланных в Сибирь, им руководило, вероятно, сострадание к сестре...»

5/17 апреля: «Как сообщил служитель, больной сегодня очень грустен и постоянно призывает к себе смерть... Все сегодняшнее утро он провел в своей комнате, пряча заплаканное лицо в подушки...»

24 апреля /6 мая: «...Больной сдержан в обращении и вполне разумен, так как отстранился от своих обыденных ложных идей. В нем снова проснулось желание деятельности; мы застали его рисующим, и он сейчас же заказал бумагу и карандаши для рисования своего автопортрета...»

26 мая /7 июня: «Он просил служителя сходить к барону Ф. Хану (служившему прежде при русском посольстве в Неаполе) и, считая его живущим над собою в верхнем этаже, умолял его из человеческого сострадания не мучить его больше».

После того как консилиум немецких психиатров признал болезнь Батюшкова неизлечимой, было решено увезти его в Россию. Доктор Дитрих взялся сопроводить и лечить поэта.

20 июня из Пирны выехали в Москву А. Н. Батюшкова и Е. Г. Пушкина, а 4 июля Батюшков, сопровождаемый Дитрихом, бароном А. М. Барклаем-де-Толли (сыном героя Отечественной войны, вызвавшимся помочь старому знакомому), слугой Яковом Маевским и санитаром Шмидтом, покинул Зонненштейн. Дитрих замечает в дневнике: «Известие, что дорожный экипаж у ворот, он принял с жаром со словами: «Отчего так поздно? Я здесь уже четыре года!..»

Путешествие было долгим: Теплиц, Билин, Шлан, Прага, Галиция, Броды... «Разнообразие прелестных долин, холмов, чистое темно-голубое небо производили на больного сильное впечатление, возбуждая в нем поэти-

ческое настроение, которое сильно удивляло меня. Солнце и луну он боготворил, молитва его, обращенная к светилам, была трогательна и кротка при виде луны и всегда неумеренно восторженна при восходе солнца».

Днем 17 июля 1828 года путешественники пересекли русскую границу. «Когда мы ступили на русскую землю, он, увидя солдата, попросил у него кусок черного хлеба, говоря, что у русского солдата он всегда имеется...»

До Москвы ехали чуть ли не 20 суток: больной пришел в сильное возбуждение, сопровождавшееся иногда приступами буйства... Наконец, 4 августа прибыли в Москву, а на другой день поселили Батюшкова в небольшом домике в Тишине переулке, в Грузинах, который был специально нанят для поэта Е. Ф. Муравьевой. Болезнь уже не поддавалась лечению, и все усилия были направлены лишь на облегчение участи и состояния Батюшкова и на успокоение бурных проявлений душевного недуга.

А. Н. Батюшкова — В. А. Жуковскому, 18 августа 1828. Из Москвы в Петербург: «Мое свидание с Катериной Федоровной и заботы к приготовлению жилища нашему Страдальцу причиной моей медленности вас известить о моем приезде в Москву... Мой бедный Залог приехал 4 час<ла> сего месяца; не имею горестного утешения его видеть, но нахожу способ получать каждый час о нем известье и невидимкою устраиваю его хозяйство... С помощью бога надеюсь иметь возможность отлучиться на короткое время отсюда, желаю обнять сестер, слишком семь лет с ними в разлуке...»¹

Это — предпоследнее дошедшее до нас письмо А. Н. Батюшковой. Через полгода ее настигла та же «родовая» душевная болезнь, что и ее брата...

Впрочем, обратимся к дневнику Дитриха.

12/24 августа: «Несмотря на страстное желание уйти из нового места, он никогда не выходит из ворот, хотя те не закрываются, он жаждет тишины, и самый ничтожный шум возбуждает его...»

18/30 сентября: «Не позволял топить у него печку; его не послушали, и он открыл окно, уверяя все время, что в печке притаились Штакельберг, Нессельроде и многие другие, кои начнут мучить его...»

11/23 ноября: «То скучал, то насмехался, вообще же был тих».

¹ ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 49.

18/30 января 1829: «Вечером пришли князь Вяземский и Верстовский¹; последний играл на фортепиано в моей комнате; дверь была открыта, и больной мог отлично слышать игру... Он, лежа на диване, лепил из воска и не казался раздраженным, потому опыт и не был прекращен²».

19/31 января: «Утром рассказывал всякий вздор, с негодованием отнесся к вчерашней музыке...»

15/27 февраля: «Утром умолял Шульца принести ему кинжал, чтобы умертвить себя, ибо жизнь ему надоела; ему чудились Вяземский, Жуковский, Александр Павлович и другие, которые записывали все, что он говорил, и немедленно отсылали куда-то записанное...»

В дневниках Дитриха часто повторяется, что Батюшков главными виновниками своей трагедии считал графа Штакельберга, канцлера Нессельроде и императора Александра Павловича. Последний особенно часто являлся больному в образе душителя с веревкой...

28 августа /9 сентября 1829: «Сегодня он вылепил из воска рог изобилия, обвитый змеей, голова которой выдается назад. Он приделал к нему ушко и повесил к окну, положив в него два живых цветка...»

19/31 декабря: «Последние полтора месяца... большею частию был спокоен, в целые дни проговорит не больше нескольких слов, постоянно гуляет по двору и саду...»

В феврале 1830 года Батюшкову стало совсем плохо, и Дитрих записал в дневнике: «Вероятно, он скоро скончит с этим миром». Больного посетил знаменитый московский доктор М. А. Маркус и согласился с этим предположением: С конца февраля до конца марта Батюшков почти ничего не ел, ослаб, его чаще стали мучить припадки.

Из дневника историка М. П. Погодина, 14 марта 1830: «Батюшков очень дурен. Неужели он умрет?.. В роковые дни idus Martii к нему с Дитрихом. Чрез окно. Лежит почти неподвижный. Дикая взгляды. Взмахнет

¹ Александр Николаевич Верстовский (1799—1862) — русский композитор и театральный деятель.

² П. А. Вяземский неоднократно предпринимал попытки вылечить Батюшкова музыкой и пением. Он посещал больного, хотя тот и не хотел узнавать его («...он никакого Вяземского не знает, потому что он сто лет уже умер» — Остафьевский архив..., т. 3, с. 178).

иногда рукою, мнет воск. И так лежит он два месяца. Боже мой! Где ум и чувство? Одно тело чуть живое. Страшно!»¹

А. С. Пушкин — П. А. Вяземскому. Вторая половина марта 1830. Из Москвы в Петербург: «Наше житье-бытье сносно. Дядя жив, Дмитриев очень мил. Зубков член клуба. Ушаков крив... Батюшков умирает».

Из дневника Дитриха, 20 марта /1 апреля 1830: «Сегодня он также не проглотил ни крошки. Не захотел чая, вместо него потребовал свежей воды. Слабость его, само собой разумеется, все более увеличивается. Около 6 часов вечера пришли навестить его старушка Муравьева с княгиней Вяземской... Прошло с полчаса, как вдруг Шмидт громко позвал меня, сообщив, что больной умирает. Я с Маркусом поспешили в его комнату; судороги сводили ему ноги, голова лежала глубже обыкновенного, руки были раскинуты, он стонал от боли, причем, страшно вращал вышедшими из орбит глазами, которые, остановившись на мне, с ужасным выражением преследовали меня... Лицо его бледное, осунувшееся, безжизненное, было лицом мертвеца; в глазах отражался его помутившийся дух... Судороги скоро прекратились и уже не возвращались более. Он отказался от чая, два раза предложенного, и погасил свечу».

Через два дня в доме умирающего Батюшкова была отслужена всенощная, на которой присутствовал А. С. Пушкин.

22 марта /3 апреля: «Вечером была отслужена всенощная. Певчие пели посредственно, но издали пение трогало больного. Двери были раскрыты, и звуки доносились до него; он лежал неподвижно на диване с сомкнутыми глазами и даже не шевельнулся, когда на стол к нему поставили свечу. Поэт Александр Пушкин, бывший во время службы вместе с Муравьевой и княгиней Вяземской, подошел к столу, у которого лежал больной, и, отстранив свечу, с оживлением начал говорить больному, который не шевельнулся и не промолвил ни слова, даже не обратил внимания на лиц, стоявших у него в прихожей. Вероятно, ему слышалось пение архангелов. Когда к нему послали сиделку с чаем, с единственной целью посмотреть, как он с ней обойдется, он ответил:

¹ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. III, СПб., 1890, с. 36.

«Вы мне решительно не даете покоя!» Всю ночь он простонал».

Стихотворение Пушкина «Не дай мне бог сойти с ума» написано, как свидетельствуют современники, под влиянием этой, последней встречи с Батюшковым.

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

В. А. Жуковский — Д. П. Северину. 13 апреля 1830. Из Петербурга в Лондон: «...О Батюшкове, который теперь в Москве, куда уже два года как перевезен из Зонненштейна, — весьма худые вести: он почти при конце жизни, и надобно желать, чтобы эта жизнь кончилась, чтобы эта высокая душа вырвалась из тех цепей, которые так страшно обременяли ее; надежды излечения для него нет никакой...»¹

Впрочем, и в страшной болезни своей Батюшков остался поэтом. Вот запись из дневника Дитриха (1/13 августа 1828): «Он решительно не мог переваривать вопроса о времени. «Что такое часы? — обыкновенно спрашивал он и при этом прибавлял: — Вечность!»

...И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» — его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность».

(О. Мандельштам)

Может быть, подспудное сознание этой «вечности» помогло Батюшкову выжить в 1830 году. К середине апреля кризис миновал: больной начал есть, начал даже вставать. «Голос стал крепче, взгляд веселее и живее», — записывает Дитрих. Тем не менее он постоянно повторяет: «Хочу смерти и покоя!» К маю Батюшков совершенно выздоровел, окреп, пополнил, «хотя в психическом отношении ни на йоту не улучшился». Дитрих

¹ Русская старина, 1896, № 7, с. 84.

пришел к выводу, что его пребывание у больного Батюшкова бесполезно, и решил возвратиться на родину.

Последняя запись в дневнике Дитриха датирована 18/30 мая 1830 года: «Сегодня больному исполнилось 43 года».

6. «В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ И СКОНЧАЛСЯ...»

Кто из вологжан не знает этой надписи на большом двухэтажном доме, который стоит на перекрестке улиц Батюшкова (бывшая Малая Благовещенская) и проспекта Победы (бывшая Гостинодворская)? На полукруглом углу — мемориальная плита: «В этом доме жил и скончался 7 июля 1855 года Константин Николаевич Батюшков».

Дом этот, построенный в начале XIX века, принадлежал протоиерею Васильевскому; с 1840 года в нем размещалась Вологодская контора уделов; с 1858 года — Мариинская женская гимназия. Сейчас там располагается педагогическое училище, в помещении которого был, наконец, 27 мая 1983 года открыт небольшой литературный музей.

Батюшков жил здесь с 1833 по 1855 годы — последние 22 года жизни. Сведений об этом, последнем периоде сохранилось немного: это две заметки его внучатого племянника П. Г. Гревенца¹, ряд попутных замечаний в дневниках и путевых заметках современников² да появившиеся после смерти поэта несколько статей-некрологов в местной и центральной печати³.

Эти статьи и заметки отрывочны и несколько односторонни. В них, например, есть некоторое пристрастие, выразившееся в характеристике опекуна Батюшкова Григория Абрамовича Гревенца. Племянник поэта (сын

¹ Гревенц П. Г. Константин Николаевич Батюшков в 1853 году. — Русская старина, 1883, т. XXXIX, № 9, с. 545—552; он же: Несколько заметок о К. Н. Батюшкове. — «Вологодские губернские ведомости», 1855, часть неофициальная, № 42, 43.

² Никитенко А. В. Дневник, т. I. М., 1955, с. 157—158; Погодин М. П. Из дорожного дневника. — Москвитянин, 1842, кн. VIII, с. 281—282; Шевырев С. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь в 1847 году, ч. I. М., 1850, с. 111—115.

³ «Вологодские губернские ведомости», 1855, часть неофициальная, № 29, 33; Кончина К. Н. Батюшкова (из письма к С. П. Ш.). — Москвитянин, 1855, т. VIII, с. 247—249; Бунаков Н. Батюшков в Вологде (заметки его биографии). — Русский вестник, 1874, т. VIII, с. 503—518.

его старшей сестры Анны и петербургского чиновника А. И. Гревенца) предстает в заметках его сына и знакомых в качестве некоего благородного бессребреника, который, увидев в 1833 году критическое положение больного Батюшкова, «приехал в Москву и... взял на себя успокоить страдальца-дядю». Как показывают деловые документы, хранящиеся в Пушкинском Доме, дело обстояло не совсем так.

Это две объемистые единицы хранения под скучными названиями: «Бумаги по опеке над имуществом К. Н. Батюшкова» (фонд 19, ед. хр. 56) и «Бумаги по именным К. Н. Батюшкова в Вологодской губернии и дворянская опека» (фонд 19, ед. хр. 57). Мы не имеем возможности привести их целиком и даже в больших отрывках: первая единица хранения включает в себя 43 документа на 202 листах, вторая — 282 документа на 1296 листах. Поэтому ограничимся самым кратким обзором их содержания.

Имение Батюшкова поступило в ведение Вологодской дворянской опеки 18 августа 1825 года, после высочайшего указа. Опекуном был назначен уже знакомый нам П. А. Шипилов, зять поэта и надворный советник, директор училищ Вологодской губернии. Шипилов взялся за дело с охотой и уже к началу сентября представил в опеку опись имения «надворного советника Батюшкова»¹. В течение первых четырех лет Шипилов исправно представлял отчеты по опеке, а с 1829 года, будучи переведен по службе в Петербург, отчетные дела запустил, чем вызвал явное недовольство.

Вместе с тем Шипилов сумел решить сложнейший финансовый вопрос и сделал то, чего никак не мог сделать сам Батюшков: он наконец-то расплатился с его долгами. Забота же о самом поэте на нем не лежала: в это время Батюшков жил в Зонненштейне и в Москве.

После отъезда из Вологды Шипилов забросил опекунские дела. В ревизских отчетах за 1829—1832 гг. указывается о «нерадении» опекуна в собирании пода-

¹ Согласно этой описи Батюшкову принадлежало сельцо Межки Вологодского уезда с прилегающими деревнями (Авдотьино, Михалка и Чернухина) и сельцо Воздвиженское Вологодского уезда Угольской волости (с деревнями Павликово, Строкино, Глуповское, Михайловская, Рыково, Ракач, Соболево, Гороховская, Макарьино, Ковшово, Васильевская, Низки и Рылово). В них числилось 325 душ мужского пола и 308 душ женского пола.

тей, а главное — о непредставлении отчетности. Шипилов даже прибегает к уловкам. Так, 3 мая 1830 года из Петербургской управы благочиния поступило в Вологду сообщение о смерти Шипилова, и более года потребовалось на то, чтобы узнать, что опекун жив и здоров. А его отчет за 1831—1832 годы ограничился коротенькою запиской, что «в оное время ни прихода, ни расхода не имелось...»

Наконец, 11 января 1833 года Шипилов подал просьбу освободить его «от занимаемой им должности опекуна». Новый опекун был найден буквально тотчас же. Им стал «родной г. Батюшкову племянник, флота лейтенант Григорий Гревенц», назначенный указом Вологодского губернского правления от 18 января 1833 г., то есть через неделю после просьбы Шипилова. Такая быстрота заставляла подозревать Г. А. Гревенца в некоей «корысти». После 1833 года он заводит бесчисленные «тяжебные дела» против Шипилова, составляющие по объему более половины всех деловых документов. То он обвиняет Шипилова в присвоении «пенсiona» Батюшкова «по 2000 рублей каждогодно» (выясняется, что до 1833 года Батюшков получал не «пенсион», а «жалованье» по министерству иностранных дел, где числился на службе; 9 декабря 1833 года Николай I уволил Батюшкова со службы и распорядился назначить «пенсион», составляющий «сумму, равную окладу жалованья»; эти две тысячи рублей тотчас же перешли в ведение Гревенца). Потом новый опекун подал на Шипилова в суд, будто тот незаконно присвоил какие-то 2938 руб. 90 коп. (от этого обвинения Шипилов также благополучно «оправдался»)...

До 1833 года Г. А. Гревенц, лейтенант флота в отставке, не жил в Вологде. Он не имел ни выгодного места, ни большого состояния. Поэтому опека над душевнобольным дядей, известным поэтом и достаточно обеспеченным человеком, могла принести ему несомненные выгоды. Кроме имения и пенсии (составлявших около 9 тыс. рублей ежегодно), появились и собственно «поэтические» источники доходов. В том же 1833 году книгоиздатель А. Ф. Смирдин обратился к родственникам поэта с просьбой о разрешении издать сочинения Батюшкова. Гревенц заключил с ним контракт на 8 тыс. рублей. Да и служба в провинции могла продвигаться успешнее, чем в Петербурге.

Поэтому Гревенц решил переехать в Вологду вместе с Батюшковым. Для этой цели у протоиерея Васильевского был нанят дом (за 400 рублей в год) и в начале 1833 года были произведены необходимые приготовления: куплена мебель и обстановка, наняты слуги. В марте Гревенц вместе с Батюшковым переехал в Вологду.

Надежды опекуна на Вологду вполне оправдались. Молодой и энергичный «лейтенант флота» сумел быстро наладить необходимые связи и поступить в службу. В 1838 году Гревенц уже «титулярный советник», в 1842-м — «коллежский ассессор», в 1843-м — «надворный советник», в 1845-м «коллежский советник», в 1849-м — «статский советник». С 1840 года в здании, которое было нанято для Батюшкова, размещается Вологодская контора уделов, и около того же времени Гревенц становится председателем этой конторы. Иными словами, опекун, находясь «возле» Батюшкова, устраивает и свою судьбу.

В отличие от Шипилова, Гревенц был весьма аккуратен в своих отчетах: он скрупулезно, учитывая каждую «четверть копейки», записывает и приход, и расход. Вместе с тем «расходы» Батюшкова явно завышены. Гревенц явно не ограничивается получением опекунских 5% доходов: он часто нарочито завышает «расходы» большого дяди, чтобы покрыть свои, действительные расходы. Так, если верить отчетам Гревенца, для Батюшкова куплено в 1837 году 3 халата (на сумму 219 руб.); в 1838 году еще 4 халата (225 руб.); в 1839 году, после замечания ревизии «покупка халатов» прекращается, зато куплено «платья разного» на сумму 2518 руб. На помаду, духи, курительные порошки Батюшков якобы израсходовал в 1837 году 82 рубля, а в 1838 году — 153 руб. 50 коп. и т. д. На «стол» Батюшкова и прислуги расходуется ежемесячно в среднем 500 руб., а после замечания ревизии (эти замечания отчеркнуты красным карандашом в тех же отчетах) — сумма уменьшается вдвое. Наконец, особенно популярным в отчетах Гревенца оказалось «лучшее виноградное вино из Петербурга», которое большой Батюшков якобы потреблял в гигантских количествах (на 700—800 рублей ежегодно). В 40-е годы, когда материальное положение опекуна укрепилось, «расходы» Батюшкова уменьшаются в несколько раз...

Однако некоторые сведения, содержащиеся в отчете

тах, предельно интересны. Так, мы узнаем, что Батюшков жил в своей комнате не один, а с неким «компаньоном» — штаб-ротмистром Львовым (ему Гревенц платил от 200 до 700 рублей в год). Этот Львов был, вероятно, давний знакомый поэта, по каким-то причинам приехавший вместе с ним, — личность его, к сожалению, нам установить не удалось.

Годовые отчеты Гревенца указывают и на то, что в душевном состоянии поэта к началу 40-х годов начала обнаруживаться перемена к лучшему. Если в 30-е годы «годовому доктору Энгельмейеру» выплачивалась сумма 300 и более рублей, то в 1840 году — 141 руб. 42 $\frac{1}{4}$ коп., в 1845 году — 85 руб. 71 $\frac{3}{4}$ коп., а в последующие годы доктор в годовых отчетах вообще не появляется.

Ежедневные занятия Батюшкова также находят место в этих отчетах. 1837 г.; «Для занятия г. Батюшкова цветной и золотой бумагой, карандашей и разных бардеров — 22 руб. 50 коп.» 1836 г., *июнь*: «В наем два раза ямщицких лошадей для проезда г. Батюшкова в деревню — 14 руб.» Деревня, где проводил лето Батюшков, была недалеко от Вологды, но сколько можно судить по расходам «на приготовление усадьбы Хантоново» в 1844 году, Батюшкова вывозили и в его «пенаты».

Показательны и записи 1850 г.: «На театр — 9 руб.», «На театр — 4 руб.». Они вместе с появлением «почтовых расходов» и расходов «на газеты» свидетельствуют о действительном улучшении душевного состояния поэта в последние годы перед смертью.

Воспоминания современников (как опубликованные, так и оставшиеся в рукописях), если их представить в совокупности, подтверждают этот вывод. Они дают картину яркую и выразительную.

А. С. Власов. Подробные сведения о последних днях Константина Николаевича Батюшкова: «В Москве Батюшкова держали в совершенном удалении от людей, в одиночестве; здесь же он жил в семействе. В первые годы его здесь пребывания душевная болезнь его обнаруживалась сильными припадками бешенства, и его должно было удерживать, чтобы он не нанес вреда себе или другим; но впоследствии постоянная заботливость, с которою предупреждали и исполняли все его желания, деликатное с ним обращение (что он в особеннос-

ти любил) имели благотворное влияние на его нервную систему: припадки стали делаться с ним реже, и он сделался спокойнее. Эта перемена в его моральном состоянии воспоследовала около 1840 года»¹.

П. Г. Гревенц: «По приезде его в 1833 году Константин Николаевич был почти неукротим и сильно страдал нервным раздражением... Душевное его расстройство было так велико, что он боялся зеркал, света свечи, а о том, чтобы увидеть кого-нибудь, не хотел и думать, и в эти печальные дни бывали с незабвенным Константином Николаевичем ужасные пароксизмы: он рвал на себе платье, не принимал никакой пищи, и только спасительный сон укрощал его возмущенный организм. Но лет десять тому назад начала в нем обнаруживаться значительная перемена к лучшему: он стал гораздо кротче, общительнее, начал заниматься чтением, и страсть его к чтению постоянно усиливалась до самой кончины».

А. С. Власов: «...Батюшков проводил жизнь без всякой задуманной цели, ни к чему не стремился, находясь в тихом помешательстве, которое началось в нем удалением от общества и в это время проявлялось в расположении его к уединению; он весьма редко выходил из своей комнаты и не любил, чтобы к нему входили. Впрочем, по большей части он обедал, а иногда проводил и вечера, со своим племянником, его женою и детьми, из которых одних любил, а к другим показывал совершенную ненависть... Если бывали в доме гости, то он весьма редко являлся в зале; явившись же в собрание, употреблял всю энергию своего характера, чтобы сохранить приличие в обращении, и умел щеголять теми утонченными и остроумными манерами, которые составляли принадлежность образованного общества в конце прошлого столетия. Разговор его отличался решительными, резкими суждениями и, по большей части, сарказмом».

До нас дошли некоторые стихи Батюшкова последнего периода. Как пишет В. Дементьев, «Батюшков, поэт-подвижник, поэт-страдалец, в безумии твердил странную провидческую скороговорку: «И кесарь мой — свя-

¹ Неопубликованные воспоминания вологодского чиновника А. Власова, написанные по поручению П. А. Вяземского, здесь и далее цитируются по автографу: ЦГАЛИ, ф. 63, оп. 1, ед. хр. 17. Воспоминания написаны в 1855 году, сразу же после смерти поэта.

той косарь...» — такой представлялась ему собственная жизнь». Эта «провидческая скороговорка» — из стихотворения «Подражание Горацию» («Я памятник воздвиг огромный и чудесный...»), которое представляется иногда «бессмысленным набором слов» (Н. В. Фридман) — но что-то есть в этом «наборе слов»!

Стихотворения, написанные в годы психической болезни, включают в сборники Батюшкова (чаще всего в состав примечаний) с оговорками. Между тем они свидетельствуют о том, что Батюшков и в «безумные» годы не потерял своего поэтического дара и поэтического видения мира, что он, если воспользоваться выражением А. Власова, «употреблял всю энергию своего характера», чтоб сохранить хоть часть себя, прежнего, поэта, восславившего радость бытия. И сейчас он — в своем «бытии»:

Премудро создан я, могу на свет сослаться;
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.

14-го мая 1853 года.

*Вологда. Вологодская удельная
контора, квартира г. Гревенца.*

А. С. Власов: «Константин Николаевич очень много читал; любимыми его авторами были Карамзин, Жуковский и Гнедич; о своих сочинениях сам он нигде не вспоминал, но с видимым удовольствием слушал, когда их декламировали. Одно время он очень много занимался рисованием, к которому имел большую способность. Содержание его рисунков состояло из цветов, плодов, птиц, животных, а иногда пейзажи. Картины его по содержанию и исполнению представляли что-то странное, даже иногда ребяческое...»

*С. П. Шевырев*¹. *Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь в 1847 году:* «Вкус его к прекрасному сохранился в любви к цветам. Нередко смотрит он на них и улыбается. Любит детей, играет с ними, никогда ни в чем не отказывает ребенку, и дети его любят... Охотно слушает чтение и стихи. Дома любимое его занятие — живопись. Он пишет ландшафты. Содержание ландшафта почти всегда одно и то же. Это элегия или

¹ Степан Петрович Шевырев (1806—1864) — профессор Московского университета, поэт и критик.

баллада в красках: конь, привязанный к колодцу, луна, дерево, более ель, иногда могильный крест, иногда церковь. Ландшафты писаны очень грубо и нескладно. Их дарит Батюшков тем, кого особенно любит, всего более детям».

Интересный портрет Батюшкова этого периода дает поэт и художник Николай Васильевич Берг: «Темно-серые глаза его, быстрые и выразительные, смотрели тихо и кротко. Густые, черные с проседью брови не опускались и не сдвигались... Как ни вглядывался я, никакого следа безумия не находил на его смиренном, благородном лице. Напротив, оно было в ту минуту очень умно. Скажу здесь и обо всей его голове: она не так велика; лоб у него открытый, большой, нос маленький с горбом, губы тонкие и сухие, — все лицо худощаво, несколько морщиновато, особенно замечательно своею необыкновенною подвижностью. Это совершенная молния: переходы от спокойствия к беспокойству, от улыбки к суровому выражению чрезвычайно быстры. И весь вообще он очень жив и даже вертляв. Все что ни делает, делает скоро. Ходит также скоро и широкими шагами».

Воспоминания Шевырева и Берга относятся к 1847 году. Умерли или уехали из России почти все его литературные друзья: Карамзин и Гнедич, Жуковский и Пушкин, Дашков и Александр Тургенев... Ушли из жизни даже такие далекие «потомки» Батюшкова, как Лермонтов, Боратынский, Веневитинов. А Батюшков — жив...

Н. В. Берг: «И допив кофей, встал и начал опять ходить по зале; опять останавливался у окна и смотрел на улицу; иногда поднимал плечи вверх, что-то шептал и говорил. Его неопределенный, странный шепот был несколько похож на скорую, отрывистую молитву, и, может быть, он и в самом деле молился, потому что иногда закидывал назад голову, и, как мне казалось, смотрел на небо; даже мне однажды послышалось, что он сказал шепотом: «Господи!..»

В одну из таких минут, когда он стоял таким образом у окна, мне пришло в голову срисовать его сзади. Я подумал: это будет Батюшков, без лица, обращенный к нам спиной...»

А. С. Власов: «Вообще говоря, он жил теми идеями и понятиями, которые вынес из сознательных годов сво-

ей жизни, и далее их не шел, ничего не заимствуя из современности, которой для него как будто не существовало...

Батюшков довольно часто вспоминал о прежних своих друзьях и знакомых: о Карамзине говорил всегда с уважением и почтением, также о князе Вяземском, — с дружеским расположением о Гнедиче и — с бранью — о Жуковском... С особенным удовольствием говорил о семействе Карамзина, в дочь которого Катерину Николаевну был влюблен, и о доме Алексея Николаевича Оленина, в котором чуть ли он не был влюблен в гувернантку...»

Из живых друзей о Батюшкове вспоминает лишь Вяземский...

П. А. Вяземский — П. А. Шипилову, 17 декабря 1847. Из Петербурга в Вологду: «Кланяйтесь от меня Вологде... вероятно, уже никого в ней нет, кроме бедного Батюшкова. Боже мой, как подумаешь, скольких он пережил и как многих, может быть, еще и переживет в несчастном этом положении. И для чего? Никак умом не разгадаешь этой тайны...»¹

П. А. Шипилов — П. А. Вяземскому, 17 июля 1848. Из села Маклакова в Петербург: «Зная, сколько Вы любили Константина Николаевича, желал бы сообщить Вашему Сиятельству более утешительные сведения относительно умственного его состояния... Он нередко бывает ныне покоен и молчалив, а едва начнет говорить, то странные суждения его о людях и предметах тотчас обнаруживаются. Заметно лишь в нем, что ныне не только он опрятен, но более щеголеват и бережлив в одежде; разумеется, что в лице он постарел, но пользуясь физическим здоровьем, он сохранил благовидную наружность... При напоминании ему о его знакомых редко дает удовлетворительный ответ, он замолчит или начнет превратные совсем о другом мечтания»².

Во время Крымской войны Батюшков вдруг заинтересовался политикой.

А. С. Власов: «Переворот, случившийся во Франции в 1848 году, не остановил на себе его внимания; но с самого начала Восточного вопроса он с энергией следил в русских и иностранных газетах за ходом военных дей-

¹ ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 67.

² ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3055, лл. 13—14.

ствий; так что в последнее время своей жизни он исключительно занимался чтением журналов, сличал статьи одного с статьями другого, делал в них заметки и всем этим занимался, показывая то убеждение, что ему свыше вменено в непремennую обязанность разрешить этот трудный вопрос и произнести решительный приговор».

П. А. Плетнев — П. А. Вяземскому, 6 января 1855. В Петербурге: «О состоянии здоровья Батюшкова я нарочно ездил справиться у сестры его, Юлии Николаевны Зиновьевой. Но она знает об этом не более меня и вас. Родственник их Гревенц, который последнее время и ходил за больным, приехавши сюда, объявил только, что Батюшков внезапно пришел в сознание и, услышав об осаде Севастополя, попросил, чтобы ему собрали поболее карт этой местности, и с той поры сильно занимается европейской политикой... Вот что значит встать из гроба, пролежав в нем 30 лет...»¹

27 июня 1855 года у Батюшкова внезапно началась тифозная горячка.

А. С. Власов: «Несколько времени до сразившей его болезни он был очень спокоен духом, даже весел и чувствовал себя как нельзя лучше. Но он заболел тифом, продолжавшимся две недели, от которого, впрочем, стал оправляться, и наконец, по отзыву пользовавшего его врача (Ф. Н. Фоброса. — В. К.) был вне всякой опасности. За три дня до своей смерти он просил даже племянника своего прочесть все политические новости. Но вдруг пульс у Константина Николаевича упал, начались сильные страдания, которые унялись только за несколько часов до его смерти; он умер в совершенной памяти и только в самые последние минуты был в забытьи».

Протоиерей Дмитриевской церкви В. А. Писарев — Ф. Н. Фортунатову. 7 октября 1855. Из Вологды в Петрозаводск: «Что же касается до последних минут его жизни, которых я был свидетелем, об этом говорить нечего: я застал его в предсмертном сне, после которого он уже не пробуждался. За несколько часов до меня был приглашен приходский священник с напутственными дарами; тогда он был в чувстве, но на все предложения не отвечал ни слова, а только показал рукою

¹ Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. 1, СПб., 1885, с. 419.

знак отрицательный. Этого священника он не знал, с незнакомыми же он говорил всегда очень мало и неохотно...»¹

Батюшков умер 7 июля 1855 года в 5 часов полудни.

10 июля в Вологде были его похороны. «Гроб поэта к месту вечного покоя, в Спасо-Прилуцкий монастырь (в 5 вер<стах> от города) провожали преосв. Феогност, епископы Вологодский и Устюженский с знатнейшим духовенством, г. начальник губернии, наставники гимназий и семинарий, и все те, кто знал о смерти поэта и кому дорога память о нем как о знаменитом писателе и как о согражданине. По окончании литургии и отпевании тела, совершенных в монастыре самим преосвященным, магистр протоиерей Прокошев произнес надгробное красноречивое слово...»²

18 декабря произошел раздел имения покойного надворного советника Батюшкова. Оно было разделено между тремя наследниками: младшей сестрой Варварой Николаевной Соколовой («коллежской ассессоршей») и племянниками Григорием Гревенцем («статским советником») и Леонидом Шипиловым («гвардии поручиком») ³.

А литературного наследия Батюшкова никто не делил и никто на него не претендовал. Его стихи, его проза, его творческие замыслы и его поэтическая личность принадлежали всем, кому дорога русская культура.

¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 5888. См. также: Сведения о болезни и смерти К. Н. Батюшкова. ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 5815.

² «Вологодские губернские ведомости», 1855, № 29 от 16 июля. Автор некролога — П. Сорокин.

³ ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 57, лл. 1293—1293 об.

Часть вторая



РЯДОМ С ПУШКИНЫМ

У всякого своя охота.
Своя любимая забота.
Кто целит в утку из ружья,
Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопущей мух журнальных,
Кто правит в замыслах толпой,
Кто забавляется войной,
Кто в чувствах нежится печальных,
Кто занимается вином,
И благо смешано со злом.

*А. С. Пушкин. Из набросков
к «Евгению Онегину»*

О, ЧИТАТЕЛЬ!

(из истории первого собрания сочинений А. С. Пушкина)

Но может быть, и это даже
Правдоподобнее сто раз,
Изорванный, в пыли и в саже,
Мой недочитанный рассказ,
Служанкой изгнан из уборной,
В передней кончит век позорный,
Как прошлогодний календарь
Или затасканный букварь.
Но что ж: в гостиной иль в передней
Равно читатели черны.
Над книгой их права равны,
Не я первой, не я последний
Их суд услышу над собой —
Ревнивый, строгий и тупой.

«Евгений Онегин». Глава II. Варианты

1

Писатель Сергей Залыгин в одном из своих очерков обратил внимание на примечательное явление: почти у всех русских классиков могла бы быть одна мать. Большая литература «явилась России и миру в одно безусловно чудесное мгновение: год рождения Пушкина — 1799, Гоголя — 1809, Белинского — 1811, Гончарова и Герцена — 1812, Лермонтова — 1814, Тургенева — 1818, Некрасова, Достоевского — 1821, Островского — 1823, Салтыкова-Щедрина — 1826, Толстого — 1828». Историк Н. Я. Эйдельман, объясняя это «мгновенное» рождение русской классической литературы, замечает: «Прежде чем появились великие писатели и одновременно с ними должен был появиться *читатель*... Равнодушное, усталое, все знающее или (что одно и то же) ничего не желающее знать общество — для литературы страшнее николаевских цензоров. Последние стремятся свалить исполинов, но при равнодушии гиганты вовсе не родятся на свет»¹.

Проблема читателя, особенно остро встающая тогда, когда мы касаемся творческих истоков литературы,

¹ Залыгин С. Литературные заботы. 2-е изд., М., 1979, с. 209—210; Эйдельман Н. Апостол Сергей. М., 1975, с. 91—92.

изучена еще недостаточно. Были писатели, появившиеся на свет слишком рано — и оказались не замечены публикой или замечены небрежно, свысока, — и это «небрежение» двухсотлетней давности сказывается и по сей час в нашем отношении, например, к «предшественнику Гоголя» В. Т. Нарезному или «предтече Достоевского» А. Ф. Вельтману... Соотношение «автор—читатель» в психологическом плане изучено сейчас достаточно глубоко¹. Но оно остается все еще «темным» в собственно историческом и социологическом аспекте.

Между тем сама эта проблема была очень остро поставлена еще в 1922 году академиком А. И. Белецким, статья которого так и называлась: «Об одной из очередных задач историко-литературной науки (Изучение истории читателя)»². Еще в 1922 году автор статьи отмечал, что теоретически эта проблема давно признана и не стоит доказывать, «что без массы, воспринимающей художественное произведение, немыслима и сама творческая производительность, что история литературы должна интересоваться распространением в массе литературных форм, их борьбой за существование и преобладание в читательской среде». Важность этого вопроса ни у кого не вызывает сомнений — и тут же А. И. Белецкий с горечью констатирует, что до сих пор «прошлое русского читателя остается все же в тени». Это горестное признание исследователя мы можем повторить и сейчас, шестьдесят лет спустя.

Что такое — «читатель»? Какой смысл вкладываем мы в это более чем расплывчатое понятие?

Читатель — «современник»? Но ведь современниками, например, прижизненной славы Г. Р. Державина были и адмирал А. С. Шишков, и Жуковский, и молодой Пушкин — читавшие и чтившие Державина (и все — по-разному!). И не чтившие Державина: русский барин-галломан, собиравший в своей библиотеке французских энциклопедистов и гривуазных поэтов: купец-старообрядец, отдающий в переписку «Великое зеркало»; грамотный мужик, читавший по складам «Английского милорда» или «Еруслана Лазаревича»; «деревенский старо-

¹ См., напр.: Левидов А. М. Автор—образ—читатель. ЛГУ, 1977; Выготский Л. С. Психология искусства. Изд. 2-е, М., 1968.

² Далее цитируется по изд.: Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. М., 1964, с. 25—40.

жил», упивавшийся «Пригожей поварихой» Михаила Чулкова или «Ванькой-Каином» Матвея Комарова; какой-нибудь «мелкодушный» дворянин Иван Петрович Белкин (герой пушкинской «Истории села Горюхина»), разбирающий «Письмовник» Николая Курганова; сельский поп, трактующий вслух патерики или Четьи-Минеи; Арина Родионовна, рассказывающая своему воспитаннику — не из книг, а из богатейшего запаса народной памяти — «о мертвецах, о подвигах Бовы»...

Кого из них призовем мы в «современники» Державина и в свидетели его прижизненной славы?

Читатель — «клиент» и «заказчик». От этого тоже никуда не денешься, ибо даже чистейший лирик не поет «как птица»... «Поэзия, как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может усомниться, не усомнившись в себе». Так писал О. Мандельштам. А Е. А. Боратынский искал друга «в поколении», а читателя — «в потомстве». Поэт не может стать выше этого диалога и этого «заказа». Пушкин, утверждавший, что он пишет «для себя», а печатает «для денег», — тоже не был исключением. Непонятый современниками, он уповал на «всю Русь великую» и на будущего читателя.

Читатель (как «заказчик», который не всякому портному доверит шить костюм) не всякую книгу возьмет в руки — а такую только, которая ему действительно нужна и действительно интересна. А великий Пушкин, который «числился по России», уповал на будущих ценителей своего творчества: «Слух обо мне *пройдет*... и *назовет*...» — все в будущем времени. Для этого требовалось огромное мужество: чувствуя себя в расцвете гениальности, натолкнуться на стену равнодушия, очутиться во времени, «когда вокруг умолкнувшего Пушкина водворилась тишина» (И. С. Тургенев).

А. И. Белецкий, анализируя «пушкинскую эпоху», выделил три типа читателей.

Одни — «беспристрастные судьи и объективные критики». Их до обидного мало: они — капля в читательском море, даже если учесть, что «море» это не слишком широко: «Евгений Онегин» выходил тиражом 1200 экземпляров.

Другие — восторженные поклонники. Их больше. Именно они в честь «юного Вертера» (героя романа Гете) надевали синий фрак, желтый жилет и желтые

брюки. Или совершали паломничества к пруду, в котором утопилась карамзинская «бедная Лиза» («топитесь, девушки, в пруду всем хватит места!»). Или становились «москвичами в гарольдовых плащах», сражающими сердца дев из провинциальных захолустий. Или (позже) организовывали фаланстеры по рецептам Чернышевского...

И третья группа читающих — косноязычное, глухое большинство, которому до поэта нет никакого дела. Это — самая «неинтересная» группа, но именно о ней и приходится говорить прежде всего.

И. С. Тургенев. Литературный вечер у П. А. Плетнева: «...Правду говоря, не на Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики... Марлинский все еще слыл любимейшим писателем, барон Брамбеус царствовал, «Большой выход у Сатаны» почитали верхом совершенства, плодом чуть ли не вольтеровского гения...; на Кукольника взирали с надеждой и почтением, хотя и находили, что «Рука всевышнего» не могла идти в сравнение с «Торквато Тассо», — а Бенедиктова заучивали наизусть».

2

Парадоксальный факт: чем значительнее творчество поэта для следующих поколений, тем равнодушнее к нему большинство, его окружающее.

Поразительный пример тому попался нам в Государственном архиве Вологодской области (ф. 31, оп. 1, ед. хр. 141). Под этими мало говорящими цифрами скрыто дело под заглавием «О приглашении подписчиков на сочинения А. С. Пушкина». Подобные «дела» можно отыскать почти во всех областных архивах. Заглавия, правда, могут быть несколько иные. В Пермском архиве, например, такое: «О раздаче билетов на получение сочинений А. С. Пушкина желающим».

А дела такого рода.

29 января 1837 года Пушкина не стало. «Солнце нашей поэзии закатилось!» Николай I, царствующий император, выказав «милосердие» к покойному поэту, преследовавшемуся им в жизни, повелел заплатить долги Пушкина и издать «на казенный счет в пользу вдовы и детей» «полное собрание всех доселе напечатанных сочинений его»...

30 мая 1837 года попечитель вологодского дворянства Николай Иванович Брянчанинов получил бумагу, подписанную министром внутренних дел России, бывшим вольтерьянцем и «арзамасцем», другом Батюшкова Д. Н. Блудовым, с предложением распространить предварительную подписку на готовящееся собрание сочинений Пушкина.

Изысканно-деловой слог министерского послания: «...Опека, учрежденная над малолетними детьми умершего поэта, приступила с соизволения *Его Императорского Величества* к изданию нового полного собрания всех доселе напечатанных произведений его. Публика уже извещена о сем ею: но я с своей стороны, зная, сколь много творения хороших писателей способствуют совершенствованию языка, образованию вкуса и вообще возвышению чувства изящного, вменяю себе в приятную обязанность, согласно с изъявленным мне желанием опеки, покорнейше просить ваше превосходительство принять участие в раздаче билетов на собрание сочинений Пушкина всем любителям литературы, всем ревнителям просвещения среди дворянства, вами предвидимого...»

К письму прилагался текст объявления (мы бы сейчас сказали: проспект), в котором сообщалось, что «сие издание будет состоять из 6 томов в 8-ю долю листа», что «издание выйдет в начале 1838 года», а срок подписки — до 1 октября 1837 года, что «при первом томе приложится портрет Пушкина, а при последнем — биографические о нем известия и снимки его почерка» и что «надзор за изданием приняли на себя Василий Андреевич Жуковский, князь Петр Андреевич Вяземский и Петр Александрович Плетнев» (друзья поэта).

Еще далее объявлялась цена:

«На ординарной бумаге... 25 р. асс. с пересылкою... 35. На лучшей веленовой бумаге... 40 р. асс. с пересылкою... 50».

Это была первая в истории издательского дела в России предварительная подписка на собрание сочинений. Она планировалась в очень сжатые сроки — а если кто не успеет вовремя подписаться, для того «цена издания увеличивается на 10 руб.»!

Ну как тут удержаться от аналогий с современностью! Не так давно, когда проводилась подписка на пушкинский десятитомник, — сколько нашлось желающих

щих! Занимали очередь с вечера, стояли ночь... И лишь немногие счастливые получили желанную желтенькую бумажку. Это при нынешних стотысячных тиражах!

И тут же — скромные тиражи Пушкина: 1200 экземпляров, 2400 (или «два завода»), в крайне редких случаях — 5000. Издатели «полного собрания» назначили тираж по тем временам неслыханный — 10 тысяч экземпляров! Цена (25 рублей за 6 томов) была вполне «божеской»: за каждую из восьми глав «Онегина» (роман, как известно, выходил по главам) «почтенная публика» платила

.....умеренную плату:
За книжку по пяти рублей.
Неужто жалко будет ей?

А тут — «весь Пушкин» за 25 рублей ассигнациями!

3

В одно время с попечителем дворянства подобную же бумагу о распространении Пушкина «по высочайшему повелению» получил и вологодский губернатор Дмитрий Николаевич Болговской (1780—1852), знавший Пушкина еще ребенком, знакомый его по Кишиневу, встречавшийся с ним в Москве в 1829—1830 годах, хорошо знавший Вяземского и Жуковского — «издателей». Д. Н. Болговскому будет посвящен следующий очерк, пока же скажем только, что «начальник губернии» активно включился в распространение подписки.

Документов этого эпизода по канцелярии Вологодского губернатора до нас не дошло. В «деле» же дворянского собрания — лишь скудные намеки о том, что губернатор «собственнолично» направил реляции, объявления и подписные листы к уездным исправникам со строжайшим предписанием организовать подписку на Пушкина. Так что этой кампанией было охвачено все дворянство Вологодской губернии...

10 июня 1837 года канцелярия Министерства внутренних дел прислала в Вологодское дворянское собрание 30 подписных билетов. В сопроводительном письме директор канцелярии К. Фон-Ноль (звучная фамилия!) покорнейше просил уведомить, «не окажется ли сие количество недостаточным».

9 июля было получено дополнительно еще 40 экзем-

пляров объявлений на собрание сочинений Пушкина — и тотчас же они были розданы желающим и разосланы по уездам.

9 января 1838 года (уже после истечения срока, объявленного издателями) пришло специальное разрешение продлить подписку еще на год — до 1 ноября 1838 года.

Потом появилось объявление о том, что «производимое ныне издание сочинений Пушкина вместо обещанных шести томов будет состоять из восьми томов, которые раздадутся подписчикам без всякого увеличения подписной платы».

И объявление о том, что в издание войдут и «доселе ненапечатанные» сочинения Пушкина.

Извещение, что подписку можно принимать не только «на ординарной бумаге», но и «на лучшей веленовой»: для тех, кто захочет совсем уж «по-благородному»...

Чем только не привлекают русского обывателя!

Но обыватель не сдается. Его не сломишь ни дешевой, ни «веленовой бумагой». Его не испугает авторитет губернатора и исправника. Его не свернет с пути даже «нерукотворный» памятник Пушкина...

17 июля 1838 года Вологодский попечитель дворянства получил известие, что канцелярия Министерства внутренних дел получила обратно 19 нераспроданных билетов (из тридцати) и 385 рублей от одиннадцати подписавшихся...

Впрочем, в Вологодской губернии дела обстояли сравнительно неплохо. А. И. Белецкий в той же статье приводит факты не менее разительные: «В Пскове не нашлось покупателей вовсе; аккерманский исправник писал, что он старался согласовать дворян, чиновников и купцов для покупки сочинений господина Пушкина, но желающих не оказалось; в Бессарабской губернии продано было всего 18 экземпляров, купленных по большей части чиновниками канцелярии губернатора (бедные!); ярославский губернатор из присланных ему 50 экземпляров вернул обратно 39...» Несколько лет назад в «Литературной России» появилась заметка М. Шарца, повествующая о подобном же эпизоде в Пермской губернии: пермский губернатор И. Огарев вернул все присланные ему 10 билетов с уведомлением, что «подписчиков на упомянутое сочинение не явилось».

Но нас в этом эпизоде смущает другая сторона. Полтораста лет назад в Вологде, являвшейся крупнейшим «культурным гнездом» русского Севера, жили многие умные и образованные люди. Дворяне родовитых фамилий: Засецкие, Брянчаниновы, Олешевы, Витушечниковы, Левашовы... Племянник Батюшкова Г. А. Гревенц. Ф. Н. Фортунатов и П. И. Савваитов, о которых речь пойдет ниже. Губернатор Д. Н. Болговской. Вице-губернатор П. А. Ножев. Известный литературный кружок: Н. Е. Вуич, Н. И. Наваишин, Д. М. Макшеев. Уже известный нам П. А. Межаков... Если всех считать по пальцам, то в одной Вологде наберется гораздо больше одиннадцати!

Ведь Пушкин же, тот Пушкин, который писал: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой», — и прочество сбылось!

Но сбылось оно позже. В 1830-е годы (в ту эпоху, которую мы образно именуем «пушкинской») и сам Пушкин, и его «плеяда» в тогдашней читательской среде были весьма мало заметны. Рядовой читатель (а тем более в провинции) попросту не ощущал пушкинского литературного влияния. Он кисло-сладко относился к «Борису Годунову» и «Евгению Онегину» — и зачитывался «Иваном Выжигиным» Булгарина, «Юрием Милославским» Загоскина, «Семейством Холмских» Бегичева, «Киргиз-кайсаком» Ушакова, «Черной женщиной» Греча... Молодежь, плененная Марлинским и Бенедиктовым, ощущала «устаревшего» Пушкина как величину несравнимую с этими литературными «гигантами».

Рядовой читатель еще «дорастал» до Пушкина — и потому большинство читающей публики отнеслось к своему великому современнику равнодушно и глухо. И бесполезно историку литературы упрекать своего прапрадеда за эту «неразборчивость». Ведь никто не будет распекать лошадь за то, что она предпочитает овес шоколаду, хотя шоколад вкуснее... Должна была совершиться «эволюция»: должен был появиться читатель-«потомок».

Равнодушие к Пушкину продолжалось до конца 1840-х годов. К 1840 году была распродана лишь половина десятитысячного тиража посмертного собрания сочинений. В 1841 году издатели (уже другие) выпусти-

ли три дополнительных тома (9-й, 10-й и 11-й), включавшие не опубликованные при жизни сочинения Пушкина, — не помогло! В 1845 году цена на издание была снижена вдвое.

А уже через десять лет это собрание сочинений стало редкостью. Когда в 1856 году П. В. Анненков предпринял новое издание сочинений Пушкина, он констатировал, что ни в Москве, ни в Петербурге нет «ни одного экземпляра» первого посмертного собрания и что «желающих иметь Пушкина много».

Пушкин начал победное шествие по России.

5

Автору частенько приходит на ум следующая занимательная и — увы! — не поддающаяся экспериментальной проверке проблема. А что если бы он (а он очень любит Пушкина) жил бы тогда, полтора-два года назад, в городе Вологде и обладал бы состоянием, достаточным для того, чтобы подписаться на это собрание сочинений, — явился бы он его двенадцатым подписчиком или нет?

Первый порыв: ответить на этот вопрос положительно! А потом сопоставишь факты, задумаешься — и столько всяких «но» выплывает...

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛА БОЛГОВСКОГО

С 1836 по 1840 год вологодским губернатором (как «военным», так и «гражданским») был генерал-лейтенант Дмитрий Николаевич Болговской.

Это — личность историческая. Он упоминается в «Русском биографическом словаре», в дневнике и письмах А. С. Пушкина, в мемуарах Я. И. де-Санглена, И. П. Липранди, М. А. Корфа, Ф. Н. Фортунатова... Его имя было достаточно известно в свое время. Большое место отводится ему и в недавнем словаре пушкинского окружения Л. А. Черейского...

Он прожил очень путаную, полную приключений, взлетов и падений, жизнь. По отзывам современников, он был «добрым, умным и благороднейшим» человеком. А для Вологды он сделал много хорошего.

Прежде всего уточним начертание его фамилии. В словарях он, по традиции, фигурирует как *Бологовский*. В воспоминаниях Липранди и Фортунатова — *Бологовский*. В записках и письмах Пушкина и Вяземского — *Болховской*. В документах — только *Болговской* (без второго «о»). И подписывался он только так.

Отпрыск старинной дворянской фамилии (правда, небогатой), он родился 30 апреля 1775 года. Шести лет, как и положено было по тем временам, Болговской был записан сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк. С ранней юности начал он военную службу (в Измайловском полку) и сразу же попал в приключение.

Утром 6 ноября 1796 года, будучи еще сержантом, он находился при кабинете Екатерины II в ординарцах. В это утро императрица была поражена апоплексическим ударом в своей уборной. Тогда он сделал одно курьезное наблюдение, о котором вспомнил А. С. Пушкин в дневнике за 3 июня 1834 года: «Генерал Болховской хотел писать свои записки (и даже начал их; некогда в бытность мою в Кишиневе он их мне читал). Киселев сказал ему: «Помилуй! да о чем ты будешь писать? что ты видел?» — Что я видел? — возразил Болховской. — Да я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет. Начиная с того, что я видел голую ж... государыни (Екатерины II, в день ее смерти)».

В юности Болговской пользуется особенным благорасположением митрополита Платона, «весьма выхвалявшего его способность прекрасного вразумительного чтения». В январе 1797 года он становится прапорщиком; в 1801 году — уже капитаном.

Знаменитой ночью с 11 на 12 марта 1801 года он был одним из непосредственных участников удушения императора Павла I в Михайловском замке. Участники этого убийства, организованного графом Паленом с ведома великого князя Александра Павловича (ставшего царем Александром I), почти сразу же поплатились за него арестом и ссылкой. Новый царь избавился от лиц, возведших его на престол, дабы те не напоминали ему о неприятном инциденте.

Сослан был и Болговской. Впоследствии, когда однажды в присутствии Александра I было произнесено его имя, царь сказал: «Знаете ли вы, что это за чело-

век? Он схватил за волосы мертвую голову моего отца, бросил ее с силой оземь и крикнул: «Вот тиран!»¹. И. И. Галев, знавший Болговского в 1820-х годах, передает с его слов, что он «не стесняясь, хвастал, что его шарф получил историческую известность» (Я. Ф. Скарятин задушил императора шарфом)². В качестве участника заговора о Болговском упоминают декабристы И. Д. Якушкин и М. А. Фонвизин, П. А. Полетика, А. И. Герцен в «Былом и думах».

Выйдя в 1802 году в отставку, Болговской проживал в Москве, где был, между прочим, коротко знаком с отцом и дядей А. С. Пушкина (он приходился Пушкиным дальним родственником). На одной дошедшей до нас доверенности Сергея Львовича и Василия Львовича Болговской подписался свидетелем.

Лет через пять судьба уготовила Болговскому новое испытание. В 1808 году его приблизил к себе министр внутренних дел России М. М. Сперанский, и бывший заговорщик принял активное участие в составлении проектов государственных преобразований. В марте 1812 года, когда Сперанский впал в немилость, Болговского снова выслали... Вот как об этом пишет А. И. Герцен в XXVI главе «Былого и дум»:

«Он был тогда полковником в действующей армии, его вдруг арестовали, свезли в Петербург, потом сослали в Сибирь. Он не успел доехать до места, как Александр простил его, и он возвратился в свой полк».

Герцен не вполне точен и использует какой-то легендарный источник. Болговской тогда не был еще полковником и не служил в армии. Ссылка была гораздо более прозаической: в родовую деревню Ельнинского уезда Смоленской губернии. И «высочайшего прощения» не было...

Дело обстояло проще: в мае 1812 года грянула война с Наполеоном, и Болговской, охваченный патриотическим порывом, снова вступил в военную службу и быстро сумел проявить себя как талантливый офицер. Он участвовал в Бородинской битве: был прикомандирован Кутузовым к Московскому пехотному полку и находился в «горячем» месте сражения. В ночь с 11 по 12 октября

¹ Записки Я. И. де Санглена. — Русская старина, 1883, т. XXXVII, с. 32, 35—36, 394.

² Русская старина, 1881, т. XXX, с. 873.

ему довелось быть свидетелем и участником переломного момента Отечественной войны, ярко описанного в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (том IV, часть 2, гл. XV—XVII).

Читатель, наверное, помнит этот эпизод. Темная осенняя ночь. Кутузов не спит в крестьянской избе. Появляются генералы Толь и Коновницын с запиской от генерала П. С. Дохтурова о том, что Наполеон оставил Москву. Кутузов требует к себе штаб-офицера, привезшего это сообщение, и настойчиво расспрашивает его о подробностях. Потом...

Л. Толстой: «Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось; он махнул рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.

— Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей... — дрожащим голосом сказал он, сложив руки. — Спасена Россия. Благодарю тебя, господи! — И он заплакал».

Д. Н. Болговской был тем самым дежурным штаб-офицером при Дохтурове, который доставил Кутузову это счастливое донесение. Эпизод о встрече с Кутузовым сохранился в небольшом фрагменте его «Записок», дошедшем до нас. Безусловное совпадение его с текстом Толстого позволяет сделать вывод о том, что Толстой при работе над «Войной и миром» использовал его неопубликованные воспоминания.

Д. Болговской: «Старца сего я нашел сидящим на постеле, но в сюртуке и в декорациях (орденские знаки. — В. К.). Вид его на тот раз был величественный, и чувство радости сверкало уже в очах его.

«Расскажи, друг мой, — сказал он мне, — что такое за событие, о котором вести привез ты мне. Неужели воистину Наполеон оставил Москву и отступил? Говори скорей, не томи сердце, оно дрожит».

Я донес ему подробно о всем вышесказанном, и когда рассказ мой был кончен, то вдруг сей маститый старец не заплакал, а захлипал и, обратясь к образу Спасителя, так рек: «Боже, создатель мой, наконец ты внял молитве нашей, и с сей минуты Россия спасена...»¹

¹ Полностью записки Болговского не опубликованы и до сих пор не найдены. Цитированный отрывок см.: Харкевич В. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников.

Подробное обоснование знакомства Толстого с «Записками» Болговского проведено И. Л. Фейнбергом в указанной работе. В окончательном тексте «Войны и мира» Толстой изменил фамилию автора «Записок»: там действует «толковый офицер Болховитинов» — но в рукописях романа он трижды называется прямо Болговским (кстати, именно в таком начертании).

В дальнейшем ходе войны Болговской проявил свои недюжинные способности. В ноябре 1812 года он назначен дежурным штаб-офицером 6-го гвардейского корпуса, был тяжело ранен в сражении под Лейпцигом (за это сражение получил орден Георгия 4-й степени); а при взятии Парижа — он уже заслуженный полковник, управляющий штабом генерала Дохтурова.

Так что «высочайшее прощение» Болговской заслужил собственной кровью.

После окончания Отечественной войны он остался в армии. Сначала Болговской — полковник Московского гренадерского полка, затем — командир Малороссийского гренадерского полка.

В 1820 году Болговской был произведен в генерал-майоры и с 7 августа был назначен командующим 1-й бригадой 16-й пехотной дивизии. Командиром дивизии был Михаил Федорович Орлов, декабрист, один из основателей и руководителей «Союза благоденствия». Дивизия стояла в Кишиневе, и Болговской отправился к новому месту службы.

Здесь с ним и сблизился Александр Пушкин.

2

Пушкину тогда исполнился 21 год, и был он опальным, высланным из Петербурга «сверхштатным» канцеляристом в Кишиневском наместничестве, при генерале Инзове, и начинающим поэтом, только что выпустившим «Руслана и Людмилу» и сверх того «наводнившим всю Россию возмутительными стихами»...

А Болговскому — 45 лет, и он — один из «власть держащих», по крайней мере, в Бессарабии.

Казалось бы, «что общего меж ними»? Но это были весьма добрые знакомцы.

Вып. 1, Вильна, 1900, с. 226—243. См. также: Фейнберг И. История одной рукописи. Рассказы литературоведа. Изд. 2-е, М., 1967, с. 20—27 (гл.: Страница «Войны и мира»).

О встречах Пушкина и Болговского подробно пишет И. П. Липранди. Как отмечают исследователи, воспоминания Липранди, несмотря на свою отрывочную форму, драгоценны как по точности, так и по богатству сообщений в этих рассказах, составляющих как бы летопись тогдашней жизни Пушкина...»¹ Для своих воспоминаний Липранди использовал старые дневниковые записи (до нас не дошедшие), что и позволило ему восстановить все эпизоды «частной» кишиневской жизни Пушкина: с кем он был близок, о чем разговаривал, где любил обедать... «Что касается до обедов, то в те дни, когда он не оставался у Инзова, то, конечно, предпочитал всякому туземному столу обед у Орлова и Болговского...»

Имя Болговского здесь стоит рядом с именем М. Ф. Орлова, декабриста... Если верить Липранди, то Болговский был каким-то образом связан с декабристским движением. Об этом же позже писал и «крестник» Болговского, русский педагог Н. Ф. Бунаков: «Карьера его была навсегда испорчена прикосновенностью к делу декабристов»². Однако каких-либо документальных подтверждений этой «прикосновенности» нам найти не удалось.

«В статье о Пушкине, — продолжает Липранди, — ничего не сказано о бригадном генерале Дмитрие Николаевиче Болговском, у которого Александр Сергеевич часто обедал, вначале по зову, но потом был приглашен раз навсегда. Стол его и непринужденность, умный разговор хозяина, его известность очень нравились Пушкину...» Позже, после одного неприятного обеда в Одессе у графа Воронцова, он тому же Липранди добром помянул обеды Болговского: «Здесь разговор был самый игривый, ум и опытность самого хозяина придавали еще более интереса».

В воспоминаниях Липранди приводятся два характерных эпизода отношений Болговского и Пушкина, ярко рисующих того и другого.

¹ Майков Л. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, с. 93—94. См. также: Двойченко-Маркова Е. М. Пушкин в Молдавии и Валахии. М., 1979; Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979. Воспоминания И. П. Липранди цитируются по изд.: Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Ред., вступ. статья и прим. С. Я. Гессена. Л., 1936, с. 191—278.

² Записки Н. Ф. Бунакова. Моя жизнь. СПб., 1909, с. 4.

Первый из них связан с уже упоминавшимся убийством царя Павла I, о котором Пушкин писал в оде «Вольность»:

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы в последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх...

И вот Пушкин обедает у одного из «убийц потаенных»; и обеды эти ему нравятся. «...Но один раз чуть-чуть не потерял расположение к себе генерала из одного самого неловкого поступка. Случилось так, что мы обедали у Дмитрия Николаевича... После обычного сытного, с обилием разных вин из Одессы, обеда, хозяин приказал подать еще шампанского... Вдруг, никак неожиданно, Пушкин, сидевший за столом возле Н. С. Алексеева, приподнявшись несколько, произнес: «Дмитрий Николаевич! Ваше здоровье». — «Это за что?» — спросил генерал. — «Сегодня 11 марта», — отвечал полусоловевший Пушкин. Вдруг никому не пришло в голову, но генерал вспыхнул, за столом было человек десять; но скоро нашелся: «А вы почему знаете?» — сказал он Пушкину и, тотчас оборотясь к Лексу, тоже смольнянину, присокупил: «Сегодня Леночки рождение (его племянницы)». Лекс поддержал: «Точно так-с, имею честь и я поздравить, совсем позабыл». Лекс говорил это от чистого сердца, хотя знал о существовании племянницы генерала, может, и видел ее в Смоленске, но никак уж не знал дня ее рождения... Пушкин опомнился; он сослался на Лекса, что тот его предупредил, и, к счастью, что вставали из-за стола, и объяснение тем и кончилось...» Несмотря на это «неловкое здоровье», отношения Болговского и Пушкина хуже не стали.

Второй эпизод, подробно описанный у Липранди,—это спор Пушкина и бессарабского поэта Стамати о молдавском языке и о том, что так называемое «двуязычие» (смешение молдавского и русского языков, практиковавшееся в высшем кишиневском обществе) выглядит смешно. Болговской, в доме которого происходил этот спор, «был не чужд иногда потешиться кой-какими сценами» и пытался «свести Пушкина с Стамати». «Пушкин... на-

чал приводить разные молдавские слова, которые для нашего слуха действительно одни как-то дики, другие смешны, и, наконец, присовокупил: «Да вот как, ваше превосходительство, если бы вам пришлось отвечать кому-либо на письмо из России, в котором вас спрашивают о вашем адресе, как поживаете, дорого или дешево жить, какие деньги ходят здесь и пр., — то вам пришлось бы отвечать, что живете вы в Читате-дигос, возле Бассерики Бонавестины; в кассе исправника Еманди; кила (весовая мера) продается за махмудье (золотая монета...) и т. п. «Хорошо примут эту гармонию у нас в России!...» Затем следовали еще несколько примеров, при общем смехе, в котором принимал не малое участие и сам Стамати...» Болговской смеялся громче всех и потом просил Пушкина записать свои примеры.

Говоря научным языком, Пушкин выступал здесь против отстрата (смешанного говора), возникающего на почве билингвизма (двуязычия), и лингвистически был, несомненно, прав в своей отрицании иноязычных вкраплений в русскую речь. Но Липранди приводит этот эпизод «потому более, что из числа аристократических домов Кишинева Пушкин нигде не был развязнее, как в обществе Болговского».

Из Кишинева Пушкин и Болговской выехали почти одновременно. Пушкин — в июне 1823 года: продолжать ссылку в Одессе. Болговской — в октябре того же года: он испросил отставку «по болезни», был зачислен «по армии» с разрешением нигде не служить. Воспользовавшись этим разрешением, он поселился в Москве, в 1824 году женился, довольно романтическим образом¹ (вторично, его первая жена умерла в августе 1819 года). В Москве он был, между прочим, близок с И. А. Яковлевым, отцом Герцена. Водил он дружбу и с литераторами и довольно интересно о литературе отзывался. П. А. Вяземский, хорошо знавший Болговского, в письме к А. С. Пушкину от середины января 1830 года рассказывает: «Вчера ночью возвращались мы с Болховским с бала; говорил он о романах В. Скотта, бранил их: «Вот романы, — прибавил он — «*Les liaisons dangereuses*», «*Faust*»², это дело другое: читая их, так и глотаешь

¹ См.: Русский архив, 1893, № 3, с. 164.

² «Опасные связи» (роман Ш. де Лакло), «Фоблас» (точнее: «Похождения кавалера Фобласа» — роман Луве де Кувре) — названия французских «гривуазных» романов XVIII века.

дух их, глотаешь редакцию» — Хорошо? Доволен ли? Захохотал? поблагодари же меня!»

А среди писем Пушкина есть одно, коллективное, относящееся к 1829 году: Пушкин, Вяземский, Болговской и С. Д. Киселев приглашают на вечеринку Ф. И. Толстого-«американца»...

3

В феврале 1836 года Д. Н. Болговской был назначен начальником Вологодского края. 18 апреля 1837 года он произведен в генерал-лейтенанты. Из «тираноубийцы» он превратился в верного слугу тирана и пользуется благосклонностью всевластного шефа III Отделения А. Х. Бенкендорфа, правой рукой Николая I (который, кстати, тоже был сыном убиенного Павла...).

На посту вологодского губернатора Болговской проявил недюжинные организаторские способности: мы о нем не раз упомянем в этой книжке. Пока приведем лишь некоторые отзывы о нем современников.

Ф. Н. Фортунатов (в то время инспектор Вологодской гимназии): «Он памятен за это время не одним только вологжанам, но и присланным на жительство в этот край; он был горячим ходатаем о прощении тех из удаленных в Вологодскую губернию административным порядком, в которых находил исправление в образе мыслей или поведении. Число лиц, получивших прощение по его ходатайству или переведенных в теплейший, более благорастворенный климат, очень велико: к ним, например, относятся из писателей наших Николай Иванович Надеждин и Владимир Игнатьевич Соколовский...»

Упомянувшиеся здесь ссыльные литераторы так отзывались о Болговском.

Н. И. Надеждин — *С. Т. Аксакову, 12 апреля 1837. Из Вологды в Москву*: «Губернатор наш приехал, уже неделя. Он человек очень благородный и добрый. Но, кажется, строг очень»¹.

В. И. Соколовский — *А. В. Никитенко, 18 января 1838. Из Вологды в Петербург*: «Не будь здесь нашего доброго, умного и благородного губернатора, каков Болговской, дай нам взамену жандармского полковника...—

¹ ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, ед. хр. 47.

и тогда мне пришлось бы пропадать здесь ни за денежку...»¹

В Вологде Болговской прожил недолго. 30 декабря 1840 года он был назначен сенатором в Москве и в последние годы жизни отличился в борьбе с эпидемиями холеры. Он умер 27 августа 1852 года, и, как пишет тот же Фортунатов, «прекрасная, высоко-христианская кончина Болговского... достойно завершила его жизнь исполненную добрых дел».

В 1837 году губернатор Болговской был крестным отцом новорожденного младенца Николая Федоровича Бунакова, который стал выдающимся русским педагогом и в записках своих заметил о Болговском, что тот «был вельможа... которому надо бы быть не Вологодским губернатором, а гораздо повыше».

Эту характеристику Бунакова подтверждает один любопытный документ, имеющий прямое отношение к педагогике...

4.

Документ этот не опубликован и хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, в фонде III Отделения (I экспедиция, 1838, № 82). Он резко выделяется, пожалуй, из всего состава дел этого фонда.

III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии было небезызвестной организацией, подчинявшейся непосредственно государю, которая занималась «государственными преступниками», «изменниками», «противузаконниками», «нарушителями спокойствия», «мошенниками»... Атрибуты III Отделения — жандармский корпус (подчиненный А. Х. Бенкендорфу), Петропавловская крепость, ссылка, слежка, доносы, перлюстрированные письма... И в этом-то «черном» архиве лежит «записка» Д. Н. Болговского, посвященная проблемам... педагогики и школоведения.

Называется она скучно: «Об изменениях в устройстве губернских гимназий». На ней есть резолюция царя и «особое мнение» министра просвещения России графа С. С. Уварова.

¹ ИРЛИ, 1864, СХХIV б. 3.

Главная мысль ее дана в кратком введении: «Учреждение губернских наших гимназий весьма мало имеет применения к тому классу людей, которые в них воспитываются... оные решительно ни службе, ни обществу никакой пользы не приносят».

Записка состоит из трех разделов.

В первом из них, озаглавленном: «Необходимость совершенного преобразования того состояния людей, на котором лежат все исполнения государственных постановлений», — Болговской дает яркую и недвусмысленную характеристику деятельности и «нравственности» губернских и уездных чиновников:

«...Везде сии чиновники остаются в одинаковом невежестве и без нравственности... отдаленные от центрального начальства, они безбоязненно предаются всем порывам, невежеству свойственным. Вот корень всех беспорядков, в недрах империи гнездящихся, вот источник тех злоупотреблений, которых никакое местное начальство не только искоренить, но ниже ослабить не в силах».

Что такое чиновник? — рассуждает Болговской. Это «как бы посредник между правительством и народом, с которым он всегда и в непосредственном сношении». Правительство (и «высшие» классы) европейски образованно, народ же «пребывает в самом грубом невежестве». Это «невежество» усугубляется тем, что чиновники, люди, которым доверено «бдение» над народом, находятся «едва ли не в одинаковой с ним степени невежества, с тою только разницею, что... соединяют в себе и власть, и силу».

Следовательно, правительству надобно «сосредоточить на сей класс людей особенное свое внимание, даровать ему ту степень образованности, каковая ему ныне не свойственна». Результат же этого предприятия может быть двояким: «а) совершенное перерождение того класса людей, которому правительство вверяет суд правды и местную администрацию; в) нравственная таковая преобразованность отразилась бы и на благо народное, всегда алчностью и невежеством стесняемое...»

Значит, надобно преобразовать прежде всего те учреждения, в которых воспитываются будущие чиновники — губернские гимназисты, которые «издерживая огромные суммы, никакой прямой пользы государству не приносят и принести не могут». Это наблюдение генерал-

лейтенант Болговской сделал, посещая «классы» в Вологодской гимназии...

Второй раздел «записки» — главный — представляет собою ответ на вопрос, «почему ныне существующие губернские гимназии не оправдывают своей цели». Здесь позвольте предоставить слово самому губернатору Болговскому, сохранив несколько витиеватую стилистику его писания.

«Гимназия, говорят, есть школа приуготовительная, L'école préparatoire, — в ней предполагается одним, так сказать, только очерком сообщать то образование, которого правительство в лице возледеянного им юноши достиг желает, — окончательное же усовершенствование в оном предоставлено высшим учебным заведениям, как-то: Академии, университетам и лицеям. — Это теория, она благовидна, но что говорит опыт?

Воспитанники в гимназиях обучаются многим и многим предметам, в числе их несколькими иностранным языкам и даже не забыт и греческий, но для какой цели, какому классу людей предметы сии преподаются, — того гимназии, кажется, в виду не имеют, что доказывается следующими примерами: воспитанник гимназический свой курс кончил достохвально, выучен всему и, снабженный превосходным аттестатом, с ним, вместо того, чтобы идти докончить образование в высших учебных заведениях, является к начальнику губернии (и сие потому, что на казенное иждивение он нигде не принимается) и просит службы или, правильнее сказать, жалованья, без которого с минуты выпуска его из гимназии он не имеет иногда и дневного пропитания. — Уважая столь гибельное положение сего недоросля и независимо от того, что везде места штатные всегда почти замещенные, сего юношу с аттестатом начальник губернии принимает в свою или губернского правления канцелярию, и сей полу-студент, полу-выученный тому и другому и всему понемножку, по несчастию, ничего того решительно не знает, что на его поприще знать ему было необходимо, а в довершение столь фальшивого положения сего юноши, он вместе с вступлением на стезю подьячего и весьма в короткое время совершенно забывает все то, чему и научен был, — одним словом, он остается подьячим навсегда, принимая и всю его нравственность. Таковых примеров много, а других и ожидать не следует».

Уже в 1838 году Д. Н. Болговской, как видим, говорит о недостатках, даже о «пустопорожности» «классического» образования. Толки об этом в России предстоят 30 лет спустя, в эпоху открытия так называемых «реальных училищ». Сейчас же, пожалуй, только Болговской имеет смелость заявить, что «организация губернских наших гимназий совершенно фальшива и нисколько не применена к тому классу людей, которому прежде изучения иностранных языков и множества предметов, ему еще не свойственных, потребно образование совершенно особенное (специальное), приспособленное к цели, для которой юноша приуготовлен быть должен...». Разговор идет, таким образом, о профессиональной направленности обучения! И это — подчеркиваем — в 1838 году, в период засилья реакции, «николаевского болота», когда в университетах запрещается преподавание философии, когда над просвещением «распростер крыла» печально знаменитый автор лозунга «православие, самодержавие и народность» С. С. Уваров, «министр затемнения», когда «классическая» система обучения объявляется не только лучшей, но и единственно возможной!

Правда, «профессиональную ориентацию обучения» Болговской понимает несколько ограниченно: «В губерниях везде есть секретарь, судья, стряпчий, бухгалтер, землемер, архитектор и врач, но кроме последнего, в которых терпится крайний недостаток, — все остальные чиновники большею частью несут только одно название, но на самом деле они весьма редки».

Следовательно, гимназии надобно перестраивать таким образом, чтобы они выпускали *специалистов*, «потребных» на своем месте. Эта «положительная» программа, «условие сего нового заведения в главнейших его чертах», раскрывается в третьем разделе «записки». Он краток, и рекомендации, которые может дать генерал-лейтенант Болговской, дилетант в вопросах педагогики, сводятся к двум моментам.

Во-первых, поскольку значительная часть народа живет в «разврате и безнравственности», «то надлежит твердою мерою прервать на время воспитания всякое сношение питомца, воспитанника (разве исключительно) с домом родительским». Болговской подчеркивает эту необходимость: «Надлежит приблизиться к сему классу людей, чтобы удостовериться, что условие сие писано с

натуры, ибо зараза семейной безправственности превосходит всякое вероятие. — Мера сия признается столь необходимою, что буде бы воспитанник в продолжение своего курса научился только даже одной российской грамоте, но нравственность его сохранилась и пребыла чиста, то и тогда он себе и семейству своему, а наконец и правительству, был бы членом полезным».

Предлагая «интернаты», Болговской имеет в виду своеобразную утопическую систему воспитания, оторванную от «грязи жизни». Ребенку хотя бы «вместо горького посвящения в жизнь» передать «блестящие идеалы», дабы он, неиспорченный, вносил эти «идеалы» снова в жизнь... Эта система воспитания идет от Руссо, и ее прекрасно описал А. И. Герцен в романе «Кто виноват?»: «...Вместо того, чтобы вести на рынок и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они (воспитатели. — В. К.) привели его на прекрасный балет и уверили ребенка, что это музыкальное сочетание движений с звуками — обыкновенная жизнь...» Этого же хочет и Болговской, воспитанный на идеалах XVIII столетия.

Во-вторых, говоря о реорганизации гимназий, Болговской пишет: «...Желательно, чтобы заведение сие обратилось на следующие предметы: а) дать правительству секретаря, судью, бухгалтера и сии три предмета окончательно заключить в губернском учебном заведении и в) землемера, архитектора и врача, доведя их до известной степени приуготовительного образования, кончить оное на казенном же иждивении в высших учебных заведениях».

Предложение вовсе не такое наивное и основано на глубоком раздумье. Педагог может вычленил в нем такие глобальные требования, как профессиональная направленность обучения, преемственность его (от школы — к вузу, выражаясь современным языком), и акцент на то, что может потребоваться юноше в дальнейшей жизни.

Повторяем, для 1838 года это был очень прогрессивный «проект», и в ряду аналогичных (например, «Записка о направлении и методах первоначального образования народа в России» И. В. Киреевского) он занимает не последнее место.

Между тем проект этот остался совершенно неизвестным.

25 марта 1838 года А. Х. Бенкендорф представил «записку» Болговского Николаю I. На полях проекта — высочайшая резолюция: «По Высочайшему повелению препроводить сию записку Вологодского губернатора к Мин. народн. просвещения. Его Величеству угодно, чтобы он обратил свое внимание на содержание ее и вникнул бы в изложенную в ней мысль и, буде признает ее уважительною, то с мнением своим представил бы в Комитет Министров».

Упомянутый здесь министр просвещения граф С. С. Уваров — фигура одиозная. Бывший член «Арзамаса», блестящий представитель «золотой молодежи» начала столетия, он сделал к 30-м годам довольно быструю карьеру. В описываемое нами время он — ярый монархист, рутинер, творец знаменитой «триады» «официальной народности». По его указаниям производятся гонения на передовых профессоров. Он ведает цензурой, издает небезызвестный «чугунный» цензурный устав, запрещающий печатать самые невинные вещи. Он нечист на руку, и Пушкин заклеил его в стихотворении «На выздоровление Лукулла». Он преклоняется перед *statu quo* и всеми силами стремится сохранить то, что есть...

Его ответ Бенкендорфу пышет злобой на сочинителя «прожекта». Приводим здесь лишь заключительную часть ответа, выводы господина министра по прочтении «оной записки»:

«Дабы снисходительнее судить о всех сих утверждениях и о новом плане, предлагаемом автором, надобно предположить, что он не только вовсе не знаком с видами и действиями правительства, но даже вовсе не знает, что есть гимназия и что есть народное образование вообще. Если б войти в подобное рассмотрение этого странного смешения всех понятий и уважить по достоинству решимость сочинителя утруждать Его Императорское Величество подобными советами, то следовало бы мне при внесении этой записки в Комитет гг. Министров написать целую книгу в защиту принятых правительством мер, мер, им избранных, и всех частей системы, наблюдаемой в течение столь многих лет под непосредственным руководством государя императора, — системы, коей, смею сказать, благотворные плоды ощутительны в глазах всех благомыслящих. Посему Ваше

сиятельство извольте, конечно, со мною согласиться, что одно уже чувство приличия не дозволило бы мне вступить в состязание с неизвестным автором этой записки, о которой самый хладнокровный судья скажет без сомнения, что она недостойна никакого внимания ни по существу, ни по изложению мнимых улучшений».

К этому ответу, как говорится, ничего не прибавишь и не убавишь. Тут есть и намек на «неблагодарность» автора крамольной записки, и прямое указание на его «скудоумие» и на то, что «план», им представленный, — «ересь», и все тут!

Записку положили «под сукно» и сдали в архив, где она благополучно лежит до сего времени. А Болговскому, вероятно, посоветовали не заниматься не своим делом...

«ВОЛОГОДСКАЯ ИСТОРИЯ» НИКОДИМА НАДОУМКО

Как вы думаете, есть надежда на Надеждина или Надоумко недоумеет?

*Записка А. С. Пушкина
к М. П. Погодину, май-
июнь 1830 г. Москва*

«Вот я и в Вологде, мой добрый, незабвенный друг! Проехал с лишком четыреста верст, а еще только ступил на порог моего печального странствования. Прибыл сюда вчера, в три часа пополудни; следовательно, путешествовал около четырех суток: я сделал прекрасное введение в новой моей жизни...»

Так писал 8 февраля 1837 года политический изгнанник, высланный по высочайшему повелению «на жительство в Вологодскую губернию, в город Усть-Сысольск, под присмотр полиции» Николай Иванович Надеждин. Он же — профессор Московского университета по кафедре теории изящных искусств, ученый с очень широким научным диапазоном, занимавшийся философией и эстетикой, энтографией и лингвистикой, историей и географией, археологией и фольклористикой. Он же — редактор-издатель журнала «Телескоп», популярного и боевого печатного органа 30-х годов XIX столетия. Он же —

«Никодим Аристархович Надоумко, с Патриарших прудов, экс-студент из простых», блестящий критик, центральная фигура литературных споров, чьи статьи непосредственно подготовили деятельность Белинского.

Его «вологодская история» как бы открывает нам сложное и емкое понятие «вологодская ссылка».

В Вологде, в месте «не столь отдаленном», но все же достаточно захолустном, в разное время, не по своей воле, а по повелению «свыше», побывали многие известные революционеры и писатели. В 1860-е годы — Н. В. Шелгунов, П. Л. Лавров, В. В. Берви-Флеровский, М. П. Сажин, Д. К. Гирс и другие. В 1870-е годы — Г. А. Лопатин, О. Д. Мельников, Е. П. Карпов... В начале XX века — В. В. Воровский, А. В. Луначарский, И. В. Сталин, М. И. Ульянова, А. А. Богданов — революционеры-марксисты. И писатели: А. М. Ремизов, А. В. Амфитеатров, П. Е. Щеголев, О. В. Аптекман, Н. А. Бердяев, А. П. Булгаков и так далее, и так далее...

Многие страницы «вологодской ссылки» изучены, многие — еще предстоит изучить. Сейчас мы перелистаем ее первые главы...

Итак, Николай Надеждин, «Никодим Надоумко».

1. ПРЕДЫСТОРИЯ «ВОЛОГОДСКОЙ ИСТОРИИ»

Что я? Где я? Где вы, мои друзья, мои искренние, мои желанные?.. Одних уж нет... другие странствуют далече!.. Да! далече... Какие ужасные катастрофы! Какое прошедшее! Какое настоящее! Каким еще будет будущее! И будет ли оно вовсе — это будущее!..

Из письма Н. И. Надеждина к С. Т. Аксакову из Вологды от 17 мая 1837 г.

Жизненный и идейный облик Н. И. Надеждина во многом загадочен.

И. И. Панаев. «Литературные воспоминания»: «Надеждин по своим обширным сведениям и по уму стоял во главе тогдашних литераторов. Наружность Надеждина была мало привлекательна. Черты болезненного лица его были резки; у него был длинный красный нос,

рот почти до ушей, раскрывавшийся совсем не только при смехе, даже при улыбке, и обнаруживавший не только зубы, даже десны. Манеры его были неуклюжи и аляповаты, голос криклив... Но несмотря на все это, он имел в себе много симпатического. Такова сила ума, смягчающая даже самое безобразие и придающая одушевление и приятность самым грубым и неприятным чертам».

Сын бедного рязанского священника, бывший семинарист, маленький, некрасивый человек в круглых очках. Он обладал удивительным даром слова, и лекции его в Московском университете возбуждали большой энтузиазм среди студентов — а среди них были такие умные русские головы, как И. А. Гончаров, Н. П. Огарев, Н. В. Станкевич, К. С. Аксаков, О. М. Бодянский, В. Г. Белинский...

Литературная деятельность Белинского и его шумная известность началась с сотрудничества в журнале Надеждина «Телескоп» — но в дальнейшем Надеждин и Белинский стали не друзьями, а врагами.

По словам Чернышевского, Надеждин «первый дал прочные основания нашей критике» и, приблизившись «силою самостоятельного мышления к Гегелю», первый выдвинул тезис о необходимости какого-то нового искусства, которое должно прийти на смену романтическому. В сущности, он обосновал первые принципы русского реализма.

Но он же стал литературным противником Пушкина, иногда грубо нападал на поэта. И вместе с тем Надеждин-критик был одним из первых (и одним из немногих) современников, сумевших понять и по достоинству оценить «Бориса Годунова». «Надеждин, — пишет И. Панев, — был человек вполне просвещенный и свободомыслящий, но не имевший никаких твердых убеждений...»

И это утверждение, в свою очередь, неверно. Просто Надеждин, критик, профессор университета, редактор одного из самых читаемых русских журналов, — слишком рано появился для читающей публики и был оценен по достоинству много лет спустя.

По своим политическим убеждениям Надеждин был монархистом, печатно заявлявшим свою преданность власти. А вместе с тем он упрямо боролся против всех форм российской отсталости и косности. Как знать, не потому ли он оказался политическим ссыльным?

В сентябре 1836 года, в 15-й книжке журнала «Телескоп», в отделе «Наука и искусство» появилась статья «Философические письма к г-же***. Письмо первое». Автором этой статьи был Петр Яковлевич Чаадаев.

А. И. Герцен. «Былое и думы»: «Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно надобно было проснуться... «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию».

«Выстрел» был сделан: николаевское правительство приступило к уничтожению противника. В октябре 1836 года журнал «Телескоп» был запрещен к изданию. 15-й номер — изъят из продажи, а следующий, с уже набранным новым «Письмом» Чаадаева, — растерзан.

К. С. Аксаков. Из частного письма: «Статья, за которую запрещен журнал, наделала ужасно шуму в Москве; не осталось человека, который бы не говорил об ней. Люди, самые не литературные, люди, едва знающие грамоту, люди, которые никогда в руки не брали русской <книги>, — все теперь читают 15 номер «Телескопа», шумят и по большей части негодуют на сочинителя»¹.

В ноябре 1836 года последовало новое «высочайшее повеление», направленное на окончательный разгром «врагов». Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим (с ежедневным освидетельствованием врачей и с подпискою ничего не печатать). Цензор Болдырев, ректор московского университета, был отставлен от должности. Издатель журнала Надеждин — сослан в Усть-Сысольск.

В Петербурге, куда Надеждин был «вытребован к ответу», на следствии, он пытался доказать, что не увидел в «Письме» Чаадаева ничего «опасного» и продемонстрировал, как определила комиссия, «умышленно преувеличенный монархический образ мыслей». В таком случае оказывалось неясно, почему «выстрел, раздавшийся в темную ночь», прозвучал с «благословения» Надеждина? Объяснить это пытались по-разному. Злые языки в Москве утверждали даже, что виною дерзкого

¹ Письмо не опубликовано: ИРЛИ, ф. Маркевича, 10604, XV, с. 1.

поступка «благонамеренного» издателя была его страстная любовь к Е. В. Сухово-Кобылиной, сестре известного драматурга, впоследствии популярной русской писательнице, выступавшей под псевдонимом Евгения Тур. Дескать, Чаадаев обещал Надеждину в качестве компенсации за опубликование «Письма» помочь ему, безродному поповичу, получить согласие родственников из «благороднейшего сословия» на брак по любви... История эта «темная», не все в ней понятно, поэтому договоримся не трогать ее. Правда, когда в 1837 году ссыльный Надеждин узнал, что его возлюбленная вышла замуж за графа Генриха Салиас-де-Турнемира, он глубоко страдал...

Одно несомненно: ссылка была для Надеждина не только бедствием, но и неожиданностью. В письме к С. Т. Аксакову из Вологды от 10 мая 1837 года он недоуменно вопрошает: «За что же такое ужасное наказание послал на меня Промысл?.. признаюсь, часто адский хохот вырывается невольно из груди, когда подумаешь: я сослан как неблагомыслящий, как неблагонамеренный, как мятежная, опасная голова... Я?!»¹

Попробуем представить себе исключительную тяжесть этой неожиданной участи: тяжесть не столько физическую, сколько нравственную. Вдумаемся: сын бедного священника своей головой и огромным трудом пробил себе дорогу в жизни, выбился, что называется, «из грязи в князи». Труден, но благодарен этот путь, потому что человек имеет перед собою твердую цель: стать лицом известным, богатым, значительным... Он использует все свои способности, знания, умения...

Но наступает катастрофа, и человеку предстоит обратный путь: из «князи» — снова в «грязи»! И из-за чего? Из-за статьи московского чудака Чаадаева, с которой он даже и не согласен вполне... И куда? И почему? И где то «дно омута», куда загоняет его судьба, очень крутая и жестокая в своих поворотах? Начинать все сначала — где взять силы? Да и как начнешь?..

А. В. Никитенко. Дневник от 11 декабря 1836 г.: «Участь Надеждина решена: его сослали на житье в

¹ Здесь и далее в статье цитируются выдержки из неопубликованных писем Н. И. Надеждина к С. Т. Аксакову: ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, ед. хр. 47. Далее цитаты из этих писем специально не огораиваются.

Усть-Сысольск, где должен он существовать на сорок копеек в день. Впрочем, это последнее смягчено. Когда ему объявили о ссылке, он просил Бенкендорфа исходатайствовать ему вместо того заключение в крепость, потому что там он, по крайней мере, может не умереть с голоду. Бенкендорф исходатайствовал ему вместо того позволение писать и печатать сочинения под своим именем».

Надеждин тотчас же воспользовался предоставленным разрешением и в декабре 1836 года отослал в журнал «Библиотека для Чтения» статью «Об исторических трудах в России». Председатель цензурного комитета М. А. Дондуков-Корсаков («князь Дундук» из пушкинской эпиграммы) заручился официальной справкой Л. В. Дубельта, что «со стороны Третьего Отделения нет препятствий к печатанию сочинений г. Надеждина», и уведомлением министра просвещения С. С. Уварова, что «цензорам надлежит в сих случаях руководствоваться общими правилами, для цензуры постановленными». Статья была напечатана, но, на всякий случай, наполовину урезана.

В середине декабря Надеждин отправился из Петербурга в Москву, а к концу января — из Москвы в ссылку...

Мы приводим ниже выдержки из писем Н. И. Надеждина к известному русскому писателю С. Т. Аксакову. Они публикуются впервые и освещают некоторые темные места, связанные с пребыванием критика в нашем крае, а также дают большой исторический и этнографический материал для характеристики Вологды 1830-х годов...

Написав эту «строгую» фразу, оговоримся: все это не просто так — взял да и «вошел в эпоху»... Чувство «вхождения» испытываешь, пожалуй, только в стенах архива, который сам по себе место «заколдованное». Одно дело, когда письма читаешь в автографе, другое — когда они тобой же перепечатаны... Сидишь потом и прислушиваешься к их отзвеневшим голосам, помня слова Юрия Тынянова:

«Сам человек — сколько он скрывает, как иногда похожи его письма на торопливые отписки! Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более главное. Ну, и приходится заняться его делами и договаривать за него»,

2. «ВОТ Я И В ВОЛОГДЕ...»

Итак, 7 февраля 1837 года, в три часа пополудни, Надеждин въехал в Вологду. Дорога от Москвы, несмотря на скорые «фельдъегерские» тройки, заняла около четырех суток.

Первое впечатление:

«Дорога ужасная, ухаб на ухабе; точно море, застывшее в самом бурном волнении; я нырять в буквальном смысле слова. Оттого меня укачало донельзя, хотя я давал себе ночную передышку два раза: у Троицы и в Ярославле. Около Вологды засинелись уже безбрежные леса, в которые должен я погрязнуть: перспектива мрачная, но она имеет в себе и то утешительное, что дорога летом будет лучше, глаже. В том только беда, что едва ли не придется мне бросить здесь мою кибитку и взять здешний омнибус. Дороги так тесны, что обыкновенными христианскими санями не проедешь...

Об Усть-Сысольске везде и от всех слышу горькие отзывы. Канада — общий приговор! Впрочем, говорят, местоположение, несмотря на леса, сухо, потому что город расположен на горе. Ртуть зимою беспрестанно мерзнет, так что можно делать из нее биллиардные шары. К счастью, теперь уже идет к весне, следовательно, первые месяцы можно прожить, не опасаясь замерзнуть.

Сама Вологда — город большой, но не завидной. Строение — святая старина. Церквей множество, и все носят печать глубокой древности. Это дает городу особую физиономию. Жизни, сравнительно с другими губернскими городами, меньше: может быть, оттого, что дома разбросаны; на улицах мертво и пусто...» (письмо от 8 февраля).

За ссыльным издателем тотчас после приезда учреждается неусыпный полицейский «присмотр», что тоже отразилось в письмах Надеждина к Аксакову:

8 февраля: «В городе я уже представлялся начальству. Вчера, тотчас после приезда, явился к жандармскому полковнику и получил прием самый утешительный. Это достойный представитель графа (Бенкендорфа. — В. К.), с Дуббельтовским радушием и благородством... Сегодня был у вице-губернатора, управляющего губернией: старик прекрасный, добрый и ласковый: вдобавок еще земляк — рязанец».

22 марта: «Сделайте милость, добрый друг, перешли-

те прилагаемое письмо по адресу. Я не отдал его здесь на почту, потому что боюсь возбудить толки. Здесь городишко такой — настоящая провинция. Заграничное письмо подаст повод к толкованиям и догадкам месяца на два. Подумают, и невесть что, подумают, что измена, бунт, тайные сношения».

12 апреля: «Губернатор... послал в Петербург представление, в котором просит объяснение: должен ли он, как водится с другими прочими, имеющими здесь проживание, иметь надзор за мною и за моей перепискою. Не знаю, что будут отвечать. Впрочем, я совершенно равнодушен ко всему, как бы ни решилось. Одно только огорчительно: будешь принужден в письмах, когда знаешь, что изъясняешься не на один, но пред свидетелем. Видно, пить — так пить до дна».

Этой «принужденностью в письмах» объясняется и лезть «отцам» губернии, которая проскальзывает в письмах Надеждина из Вологды. Почему же не польстить губернатору или полицеймейстеру, если достоверно знаешь, что «ласковые» и «благородные» начальства будут, как это водится, почитать твои письма?..

Впрочем, и тут все не просто. Взять, например, фразу о «дуббельтовском радушии и благородстве». Леонтий Васильевич Дубельт — мрачная фигура николаевской эпохи, начальник III Отделения. Именно его профиль был нарисован Лермонтовым на рукописи стихотворения «Смерть поэта». Он — типичный «убийца» российских Пушкиных...

Но Надеждин — статья особая. В конце 1836 года Л. В. Дубельт, тогда еще полковник, ведал им во время месячного ареста. Бенкендорф и Дубельт понимали, что Надеждин, сторонник существующих порядков, переживает ужасное потрясение, оказавшись в тюрьме, и были с ним довольно мягкими. Недаром, как пишет в дневнике Никитенко, Надеждин «с благодарностью отзывается о Бенкендорфе и особенно о Дубельте». В Пушкинском Доме хранится письмо Дубельта к нему в Вологду... Дубельт познакомил его с губернатором Болговским еще в Петербурге, вследствие чего с самого приезда в Вологду Надеждин мог рассчитывать на «самую лестную снисходительность, самое обязательное внимание ко всем нуждам моего положения...»

То ли с долгой зимней дороги, то ли от огорчений и страха перед будущим Надеждин, приехав в Вологду,

заболел. В феврале 1837 года к нему «пожаловал опять старый гость, ревматизм...» «То-то будет славный собеседник в Усть-Сысольске! Этого еще недоставало! (15 февраля). Болезнь оказалась серьезной: «Вот уже три недели, как я страдаю жесточайшим образом. Ревматизмы мои возвратились. Беда да и только. Между тем, время идет к весне. Санная дорога каждую минуту портится. И я боюсь, что мне придется плыть в ужасный Усть-Сысольск» (15 марта).

В конце февраля Д. Н. Болговской, находившийся в то время в Петербурге, вошел к Бенкендорфу с докладом, что ввиду ревматизма обеих ног, «геморриидальных припадков» и боли в груди Надеждин вынужден оставаться в Вологде, — на что, вероятно, получил устное разрешение. А по прибытии в Вологду Болговской тотчас послал Бенкендорфу представление об ослаблении надзора за критиком и о юридическом переводе его в Вологду. Тут уже было отвечено: «Надзор должен быть обыкновенный, полицейский» — не может быть и речи о каком-то «послаблении». А делать доклад государю о Вологде, замечает Бенкендорф, он «не счел себя вправе»...¹

Как бы то ни было, Надеждин вместо 3—4 дней задержался в Вологде почти на полгода. Пришла весна, поздняя и грязная, дороги развезло. Томительно потянулись бесхлопотные непривычные провинциальные будни. Вологодская гостиница, которая «течет вокруг», в которой «холодно, сыро и угарно». Без денег, без друзей. И это после горячих дней активной деятельности издателя журнала, профессора, критика-бойца. После романтической любви. После недавнего путешествия по Германии. После... А что впереди?

Так он и жил в Вологде до конца июля, хотя, если судить по письмам, горел желанием «опуститься скорее на самое дно омута»...

15 марта: «Временами находит на меня бесчувственная апатия. И тогда не легче. О как горько, что я не один на свете, что есть существа милые, драгоценные,

¹ Материалы о Надеждине из фонда III Отделения впервые опубликованы в кн.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2-е, СПб., 1909, с. 359—461. Материалы Государственного архива Вологодской области. — В кн.: Гуря В. В. Русские писатели в Вологодской области. Вологда, 1951, с. 60—67. Здесь цитируются по этим изданиям.

для которых и мое существование дорого... Не будь этого со мной — я бы смелее схватился с судьбой, страшнее был бы под ее ударами».

26 апреля: «Что сказать вам?.. Худо!.. Горе ужасное! Страдания невыносимые!.. Камень треснул от жара».

10 мая: «О себе ничего не могу вам сказать нового. Все по-прежнему. Живу и бьюсь кое-как с жизнью. Истинно бывают минуты, когда с радостью встретил бы конец этого боя. Нет мочи».

Ссылка Надеждина явилась переломным этапом в его творческой эволюции, той совокупностью «жизненных катаклизмов», под давлением которых публицист, критик, страстный полемист и боец, — он решил остаться только ученым. Гнет изгнания оказался невыносим прежде всего с точки зрения моральных устоев — и «бесчувственная апатия», в состоянии которой критик находится, быстро переделывает его неумную натуру... «Стоит ли после этого дорожить этим фальшивым, бесчувственным, неблагодарным светом, — этой гадкой, презренной жизнью?» (10 мая).

Распорядок жизни его в Вологде не отличается особенным разнообразием: «Разумеется, я все сижу, если не лежу, дома»... Но это «безделье» Надеждин понимает по-своему, по-разночински, потому что и в период вынужденного спада и апатии ссыльный журналист, человек огромного трудолюбия, работает очень плодотворно. В письме от 15 марта, когда «ревматизмы» допекали его особенно сильно, он сообщает: «Несмотря на жестокие страдания, я могу заниматься: читать всегда — писать временами. Пишу и посылаю в Петербург статьи для «Лексикона»...»

В 1830-х годах книгоиздатель Адольф Плюшар выпускал «Энциклопедический лексикон» — одну из первых русских энциклопедий. За период ссылки Надеждин написал для него более 100 статей, в том числе, что для нас особенно важно, статьи «Вологда», «Великий Устюг», «Вологодская губерния». Он пишет для «Библиотеки для чтения», для «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», для «Одесского альманаха» и альманаха «Утренняя заря»... Он должен работать, чтобы не умереть с голоду — род «литературной поденщины». Впрочем, не только «поденщина»: в эти два года проявилась важная сторона его облика — широта научных интересов. Он занимается и этнографией, и лингвисти-

кой, и археологией, и историей, и географией, и фольклористикой, и политической экономией...

Сам страдая от безденежья, Надеждин тем не менее смог оказать материальную помощь своему недавнему другу (и будущему литературному противнику) В. Г. Белинскому. После закрытия «Телескопа» Белинский оказался в исключительно трудном положении: он лишился работы и куска хлеба насущного, на подозрении у властей, в его квартире произвели обыск... Вот что пишет Надеждин 26 апреля: «Как поразила меня участь, грозившая Виссариону! Вот человек, истинно достойный сострадания! Однако я виню и самого его. Как же он так беспечен — не подумает устроить своей будущности? Почему он не идет в службу, не возьмет уроков? Ведь делать-то нечего! Я не только одобряю ваше распоряжение насчет выдачи ему ста рублей, но даже благодарю вас, что вы это сделали. Жалею только, что не могу больше помочь ему. Сам нищ, как Ир!..»

И как утешение изгнанника в тоске и титанической работе — бесчисленные письма: С. Т. Аксакову, Д. М. Княжевичу, М. А. Максимовичу, М. П. Погодину, московским друзьям... «Да! Вологда еще не край света!» (12 апреля).

Впрочем, о Вологде у Надеждина впечатления не очень веселые:

28 марта: «Здесь, кажется, весны не бывает вовсе... Вообразите, что с Благовещенья, когда птичка божия в вашем мире завивает свое гнездышко, у нас повалил снег хлопьями, а ныне завернул мороз, и ветер бушует, бушует, так что одурь берет».

26 апреля: «Погода всю неделю стояла преужасная... Опять на небе непроницаемая мгла, на земле непроходимая грязь, в воздухе сырость и стужа. Между тем, время близится к маю...»

«Вологодские новости» тоже не блещут особым разнообразием. Вот обыкновенный провинциальный шум вокруг готовящегося приезда «государя-наследника» (будущего царя Александра II). «Здесь все готовятся к принятию наследника. Будет непременно в конце Фоминой недели» (12 апреля). Приезду высокого гостя препятствуют объективные обстоятельства: «по дорогам нет проезда», «в Вологде свирепствует корь». «Опустошения, производимые этой болезнью, в самом деле ужасны. Вчера, против моих окон, в церкви, хоронили двадцати-

двухлетнюю жену одного здешнего протопопа с двумя детьми: все трое умерли в три дня от кори!!» (26 апреля). Наконец, в письме от 10 мая Надеждин сообщает, что на сей раз «Вологда не удостоилась счастья видеть государя-наследника».

А вот — самое яркое событие, происшедшее в ночь на 26 апреля:

«Нынешнюю ночь я всю не спал. В городе был пожар. На колокольнях били в набат. Шум, крик, гам — среди темной, хоть глаза уколи, ночи. Горело не очень далеко от моей квартиры. Стали было готовиться выбираться. К свету, однако, огонь был прекращен. Сгорело в рядах две лавки. Вот вам мои новости, вот вам наша вологодская история!..»

3. «КОНЕЦ БЛАГОПОЛУЧНОМУ БЕГУ»

В середине июля 1837 года Никодим Надоумко, еще не выздоровевший, но уже отчаявшийся, оказался в Усть-Сыольске.

28 июля: «Я — в Усть-Сыольске!.. Конец благополучному бегу... Странствование мое кончилось — и с ним кончилось все, что мог я еще ожидать, что разнообразило хоть сколько-нибудь печальную жизнь мою... Теперь нет ничего впереди — ни в физическом, ни в нравственном отношении. Все осталось позади — и люди, и свет, и жизнь, и счастье. Впрочем, на первый раз хорошо и то, что я, по крайней мере, достиг берега... Отдохну хоть телом после дальнего, трудного путешествия. Для души же одна надежда — окончание всех надежд...»

Очень характерно: ни в одном из «усть-сыольских» писем нет жалоб на житейские трудности. Их как бы не стало, они исчезли, растворились в том общем моральном состоянии трагического «конца» и полной безнадежности, в котором очутился «Никодим Аристархович Надоумко, экс-студент из простых»...

19 октября: «В самом деле, пора положить конец всему. Отныне ни слова ни о чем. Прошедшее прошло. И, конечно, Усть-Сыольск не место золотым мечтам Аркадским...»

31 октября: «Теперь — по крайней мере — развязка. Занавесь опустилась на прошедшее, и мы не будем шевелить ее».

Надеждин — сломлен, смят, «стерт». 31-м августа да-

тировано его покаянное письмо Болговскому. Там, сообщая про обострение своей болезни, он просит, молит о переводе его снова в Вологду, где мог бы он «сохранить остатки бедного моего существования». Вологодский губернатор вновь возбудил ходатайство, коему Бенкендорф на сей раз дал ход, и 3 ноября последовала резолюция Николая I: «Согласен, но иметь под строгим надзором».

25 декабря: «Это уже последнее письмо к вам из Усть-Сысольска. Разве — по несчастию — заживусь опять долго.... В Вологде есть, по крайней мере, хоть два-три человека с образом и подобием божим...»

10 января 1838 года Надеждин выехал из Усть-Сысольска и, преодолев «тысячу ужасных верст», 20 января въехал в Вологду.

21 января: «Прием, сделанный мне в Вологде, очень утешителен. В несчастии моем я еще бесконечно счастлив, что нахожу везде истинно благородных людей, из-за которых можно помириться с человечеством».

Вологда в этот, второй, приезд (на сей раз не из Москвы, а из Усть-Сысольска) воспринимается Никодимом Надоумком по-иному, становится даже символом освобождения: «Вчера был ровно год, как я приехал в Вологду, имея в перспективе Усть-Сысольск, оставляя назади Москву со всем, что привязывало меня к улетающей жизни. Теперь я стою опять в Вологде, но уже с Усть-Сысольском назади, обращенный лицом к Москве...» (8 февраля).

Да и положение ссыльного в Вологде заметно улучшилось: появились знакомства, появилась квартира, подысканная друзьями-литераторами, отношения с Болговским стали почти дружескими.

22 февраля: «Рад сердечно, что мои зырянские гостинцы доставили вам удовольствие. Посланы они были с губернатором, который отправился в Петербург через Москву.... Жизнь моя так однообразно уныла. Теперь я поселился на квартире, отброшенной в край города, в настоящей «тишине». Мало кого вижу, кроме людей нужных, которые, по счастью для меня, люди очень добрые и благородные. День идет за днем. Не скажу, чтобы отчаяние, а какое-то хладнокровное равнодушие ко всему есть господствующая стихия моей внутренней жизни».

Надеждин «переменяется». Надеждин начинает за-

живо умирать как литературный «боец» и критик. Это чувствуют уже его знакомые.

Одновременно с ним отбывает ссылку в Вологде поэт В. И. Соколовский (о нем — речь впереди), который находится в тесных дружеских отношениях с известным журналистом 1830—1840-х годов А. А. Краевским. Краевский собирается купить журнал «Отечественные записки» (ставший самым популярным в 1840-е годы), и ему позарез нужен боевой и активный критик и публицист. Таковым с 1840 года стал Белинский, но в 1838 году Краевский еще имеет в виду Надеждина. Письма Краевского к Соколовскому до нас не дошли, но по ответным письмам Соколовского¹ видно, что Краевский питал надежду привлечь к своему журналу видного критика и неустанно тормозил по этому поводу своего опального друга-поэта.

В письмах Соколовского Надеждин упоминается трижды:

10 января 1838: «Надеждина мы ждем каждый день; для него нанята квартира; он сам писал давно, что будет к Новому году... Когда он явится, то я, по твоему желанию, непременно вовлеку его в переписку с тобою».

1 февраля: «Надеждин приехал и напорядках посещает меня. Он с радостью готов вступить с тобою в переписку и только ждет твоего письма. Он хочет поместить в твоём журнале статью о духовной поэзии...»

29 марта: «...Я не мог ни вчера, ни сегодня исполнить твои поручения относительно Надеждина, но думаю, что завтра поеду на несколько часов в город и в таком случае непременно заверну к нему... Только, брат, вряд ли мы с тобою дождемся от него статьи «О духовной поэзии»: он, между нами говоря, ни рыба, ни мясо и с ним каши не сварить».

Соколовский недалек от истины. Надеждин — уже «пуст», и весной 1838 года рассуждает как заурядный вологодский обыватель:

13 марта: «Вы уже знаете образ жизни в Вологде. Он несколько не переменился и не переменится. Как отшельник сижу дома... Наш добрый губернатор, который теперь там (в Петербурге. — В. К.), принят милостиво государем-императором. Едва ли он не

¹ ГПБ, ф. 391, ед. хр. 720.

переименован уже в генерал-губернаторы Вологодской и новооткрываемой Устюжской губернии. Вот, однако, что значит Вологда».

В письме от 22 февраля Надеждин просил Аксакова прислать ему фрак и панталоны. «В Усть-Сысольске можно было бы обойтись без этого. Но Вологда, как-ва ни на есть, — а губернский город!»

Но щеголять по Вологде во фраке Никодиму Надоумку долго не пришлось. В марте 1838 года Болговской в Петербурге просил Бенкендорфа о полном прощении ссыльного издателя и вполне ручался за его будущую лояльность. 8 апреля последовала резолюция царя, в коей Надеждину разрешалось «жить всюду», где пожелает».

В конце апреля он уехал в Петербург, затем — в Одессу¹.

И. И. Панаев. «Литературные воспоминания»: «В 1838 году Надеждин возвратился из места своего изгнания, Усть-Сысольска, в Петербург, расслабленный и без ног. Он остановился в гостинице Демута. Здесь перепробовали у него все петербургские литераторы, за исключением некоторых аристократов... Усть-Сысольск значительно охладил его литературную деятельность. Он, после своего приезда оттуда, начал смотреть на литературу как на дело, отошедшее для него на второй план. Он решился всего себя посвятить служебной деятельности, и мечты о служебной карьере занимали его уже гораздо более».

Никодим Надоумко прожил еще 18 лет. Он стал довольно крупным чиновником и серьезным ученым...

Впрочем, он был уже не «Никодим Надоумко»...

«Я ВЕСЬ В МЕЧТАНЬЯХ УТОНУЛ...»
(документальная трагедия в четырех актах
с прологом и эпилогом)²

ПРОЛОГ

Жил на свете Игнатий Иванович Соколовский, «благодетель и друг страждущего человечества». Именно

¹ О литературной и научной деятельности Надеждина в Одессе см.: Осовцов С. Кто был автором «Литературной летописи Одессы»? — Русская литература, 1966, № 1, с. 145—150.

² В очерке использованы материалы, собранные совместно с С. В. Скачковой.

так охарактеризовал его в 1809 году журнал «Русский вестник» (1809, № 2, с. 303—311), поместивший проникновенную статью об этом заступнике за сибирских сирот и бедняков. И. И. Соколовский родился в Смоленске, но с ранних лет служил «на границе китайских и киргиз-кайсацких народов, в отдаленных сибирских странах», женился на сибирячке Анне Афанасьевне, от которой имел шестерых детей. Бедный дворянин, он не был «осыпан дарами счастья», и автора статьи тем более удивляли его «бескорыстные благодеяния». В 1809 г. он был подполковником Селенгинского мушкетерского полка, потом — управляющим тельминскими фабриками в Иркутской губернии, наконец — томским губернатором. Ни особенных денег, ни великой славы он не выслужил и умер в безвестности.

В этом очерке речь пойдет о его младшем сыне Владимире, имя которого связано с ярким произведением «вольной» русской поэзии:

Русский император
В вечность отошел,
Ему оператор
Брюхо распорол.
Плачет государство,
Плачет весь народ —
Едет к нам на царство
Константин-урод.
Но царю вселенной,
Богу вышних сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.
Манифест читая,
Сжалился творец —
Дал нам Николая,
Сукин сын, подлец!

Песенка написана после 1825 года. Она лихо касалась событий 14 декабря, смерти «царя благословенного» Александра I, смены власти и воцарения Николая I. Песенке этой была суждена завидная популярность: ее пели до конца XIX века, ее певал Н. С. Лесков, ее до сих пор включают в хрестоматии «декабристской» поэзии.

Автора песенки — забыли. В. Чивилихин в недавно опубликованной книге «Память» («Наш современник», 1983, № 5, 6, 10, 11) приводит поразительные примеры этого «забвения» и даже уничтожения имени этого оригинальнейшего поэта и прозаика 1830-х годов, приводит

множество новых материалов, связанных с его жизненным и творческим обликом и убедительно доказывает, что тот, кто обрекает Соколовского и подобных ему «малоизвестных» писателей на «неизвестность» и «забвение», — тот «вырывает из истории русской литературы довольно важную страницу».

Наша задача — восстановить эту «страницу». В. Чивилихин подробно пишет о годах учения Соколовского в 1-м Кадетском корпусе (который поэт окончил в 1826 году), о его последующей службе в Томске и Красноярске, о литературных предприятиях Соколовского в Сибири (в частности о том, как он вместе с двоюродным братом Н. А. Степановым, впоследствии известным художником-карикуристом, принимал деятельное участие в издании «Енисейского Альманаха»), о встречах с сосланными в Сибирь декабристами: В. Раевским, Н. Мозгалевым, С. Кривцовым... Не желая повторять того, что написано В. Чивилихиным, обратим внимание лишь на некоторые факты, дабы перейти к связям поэта Соколовского с нашим краем. Связи эти были очень значительны и представляют особенный интерес потому, что в Вологде Соколовский оказался как бы в кульминационный момент своей трагической и беспорядочной жизни.

Впервые имя поэта Владимира Соколовского появилось в столичной печати в 1830 году: в 34-м номере журнала «Галатей» публикуется его стихотворение «Прощание».

В феврале 1832 г. Соколовский появляется в Москве. Он решает вовсе не служить и посвятить себя целиком литературе. В 1832 году вышла в свет его поэма «Мироздание», тепло встреченная читателями и критикой; в 1834 году — большой (в четырех частях) роман «Одна и две, или Любовь поэта»; в 1835-м — «Рассказы сибиряка»...

В Москве Соколовский завел знакомство с кружком Герцена и Огарева. С ними и с другими членами кружка — Н. М. Сатиным, И. П. Оболенским, Н. И. Сазоновым — он делится своими литературными замыслами, читает отрывки из новой (видимо, не доведенной до конца) поэмы «Иван IV Васильевич»...

Их же в лихую минуту он знакомит с песенкой «Русский император...», которую сам, по воспоминаниям современников, распевал перед бюстом Николая I.

А. И. Герцен. «Былое и думы: «Соколовский... имел от природы большой поэтический талант, но не довольно дико самобытный, чтоб обойтись без развития, и не довольно образованный, чтоб развиться. Милый гуляка, поэт в жизни, он вовсе не был политическим человеком. Он был очень забавен, любезен, веселый товарищ в веселые минуты, *bon vivant*, любивший покутить — как мы все... может, немного больше».

Кто важно в свет вступил при шпаге,
Кто много нежностей читал,
Тот хочет вдруг, при первом шаге,
Сыскать для сердца идеал...

(В. И. Соколовский.
«Рассказы сибиряка»)

Странной фигурой 30-х годов был Соколовский. Наше представление о нем и о его наследии не исчерпывается характеристикой его как «добротолюбца» и «веселого товарища»... Последнее великолепно показано В. Чивилихиным в «Памяти».

Среди современников он прославился «духовной поэзией». Стоило ему «выбиться из того направления, которое он сам определил первой своей поэмой («Мироздание» — романтическая вариация на тему библейской «Книги Бытия»), как критика уже напоминала ему: от тебя ждут «высокой поэзии». Ныне его «духовные поэмы» забыты, а историки литературы вспоминают его как жертву царизма, как автора песенки «Русский император»...

Воспоминания, будто в один голос, говорят: «Соколовский был далеко не политический человек» (Н. М. Сатин). А в деле Соколовского в III Отделении значится, что он вместе с Огаревым в 1833 году распевал «Марсельезу» у подъезда Малого театра.

Говорят еще, что он был далек от тех умственных и идейных запросов, которыми жили участники кружка Герцена. А поплатился он за участие в этом кружке тяжелее, чем кто-либо другой из его членов. И потом никогда не «каялся» и ни разу не плакался, не жаловался на несправедливости судьбы...

В. Чивилихин, заканчивая обширную главу о Соколовском, пишет: «На небосклоне великой русской литературы Александр Полежаев и Владимир Соколовский не были звездами первой величины. Они были...

первыми поэтами-разночинцами и, следуя тернистым, мученическим путем за декабристами, связали собою цепь времен в самую темную пору безвременья, передав эстафету русского свободомыслия Герцену и Некрасову, петрашевцам и шестидесятникам».

Может быть, оценка слишком преувеличена. Однако поэт Владимир Соколовский не имеет права на забвение. Его страдающая и дерзкая фигура представляет личность выдающуюся. «Заглянув поглубже в душу его, — пишет его современник А. В. Никитенко, — вы смотрите на него с уважением».

«Ум» и «талант», как писал еще Белинский, — понятия, существенно различные. «Талант» может «уйти в ум», а «ум» — в «талант». «Талант» может стать основным жизненным путеводителем. Участь Соколовского, «поэта в жизни», — это концентрированно выраженная и очень по-русски написанная судьба русского поэта.

Поэт бросает судьбе вызов, который очень точно выразил Грибоедов: «Я как живу, так и пишу: свободно и свободно!» А судьба смеется: ну-ну, дескать, живи... Поэт борется с судьбой: рвется, путается, мечется, бьется... А судьба опять смеется: что, дескать, съел?.. И поэт гибнет — или покоряется.

АКТ ПЕРВЫЙ

Но кто грозит подобными бедами?
Кто смел на власть бесславье возвести?..

В. И. Соколовский. Хеверь

В июне 1834 года Владимир Соколовский устроился в канцелярию петербургского военного генерал-губернатора П. К. Эссена на должность помощника секретаря, а 19 июля был арестован и препровожден на следствие в Москву.

В Москве, по доносу провокатора, был арестован кружок Герцена: он сам, Огарев, Оболенский, Сатин, Ибаев, Уткин... Сразу же составилось дело «О лицах, певших в Москве пасквильные стихи». «Пасквильные стихи» — это все та же песенка «Русский император...» Авторство Соколовского тотчас было установлено — и он сразу явился главным виновником.

А. И. Герцен: «Попавшись невзначай с оргий в тюрьму, Соколовский превосходно себя вел, он вырос

в остроге. Аудитор комиссии, педант, пиетист, сыщик, похудевший, поседевший в зависти, стяжаниях и ябедах, спросил Соколовского, не смея из преданности к престолу и религии понимать грамматического смысла последних двух стихов:

— К кому относятся дерзкие слова в конце песни?

— Будьте уверены, — сказал Соколовский, — что не к государю, и особенно обращаю внимание на эту *облегчающую причину*.

Аудитор пожал плечами, возвел глаза горé и долго молча посмотрев на Соколовского, понюхал табак».

Причина была, действительно, «облегчающей»: «суккин сын» относилось к господу богу...

В московском остроге Соколовский просидел около года.

А. В. Никитенко: «С ним очень дурно обращались, а один из московских полицмейстеров грозил ему часто истязаниями».

А. И. Герцен: «Соколовского привезли прямо в острог и посадили в какой-то темный чулан. Почему его посадили в острог, когда нас содержали по казармам?.. Если бы доктор Гааз не прислал Соколовскому связку своего белья, он зарос бы в грязи».

Суда не было. Николай I, опасаясь дальнейшего распространения «пасквильных стихов», предпочел обойтись лишь приговором следственной комиссии. Соколовский вместе с *А. В. Уткиным* и офицером *Л. К. Ибаевым* был зачислен в «первую категорию» и осужден к заключению в Шлиссельбургской крепости «на бессрочное время».

Заключение в страшной из российских тюрем вряд ли могло стать «бессрочным». *А. В. Уткин* умер через год. Соколовский содержался в Шлиссельбурге полтора года (с апреля 1835 по декабрь 1836) и был выпущен, по определению Герцена, «полумертвым».

И. И. Панаев: «Он (Соколовский. — *В. К.*) начал с печального рассказа о перенесенных им страданиях в сыром каземате, с потолка которого капала сырость и стены которого были усыпаны клопами».

Е. А. Карлгоф (хозяйка известного литературного салона): «Соколовский содержался ...в крошечной комнатке, никого не видел, даже не имел позволения выходить на воздух».

Поэт Соколовский не был «трагическим» героем: он

умел весело относиться к жизни и смерти, к славе и бесславию, к свободе и к тюрьме. В Шлиссельбурге он, презрев страдания, начинает изучать... древнееврейский язык. Получилось это у него случайно.

Ф. Н. Фортунатов: «Здесь, в месте его заключения, как рассказывал он, нашел он еврейскую библию с переводом и объяснениями Кальмета, оставленную кем-то из содержащихся до него в том же каземате, где находился он. По Кальмету учился он еврейскому языку и занимался переводом Исаии и других пророков».

В Шлиссельбурге Соколовский закончил свою поэму «Хеверь». Там, в уединении, он начал работу над основным трудом своей жизни — драматической поэмой «Альма».

И. И. Панаев: «Хотя он (Соколовский. — В. К.) был очень крепкого телосложения, но такое долгое заключение разрушило его здоровье».

В декабре 1836 года титулярный советник Соколовский «по болезни» был досрочно выпущен на поруки брата, выхлопотавшего ему эту милость через великого князя Михаила Павловича.

Потом он около девяти месяцев живет в Петербурге.

АНТРАКТ

Эти девять месяцев были самыми счастливыми в жизни Соколовского. Потом, уже в Вологде, он вспоминал о них с теплотой небывалой: «О Петербурге говорить нечего: там жизнь моя была настоящий сумбур забот, хлопот, рассеяния, якубства и всех возможных дурачеств...» (из письма к А. А. Краевскому).

Фигура репрессированного поэта привлекла к себе внимание литературных салонов. Он знакомится с цензором Никитенко и прозаиком Панаевым, с издателем Краевским и поэтом Креницыным, с Вяземским и Сенковским, с книгопродавцом Лисенковым и водевилистом Федором Кони... У него появляются высокопоставленные покровители — князь А. Н. Голицын и граф Ф. Н. Толстой.

К поэту Соколовскому приходит популярность. На него смотрят как на восходящую поэтическую звезду. От него многого ждут. Его друг А. Н. Крени-

цын в октябре 1837 пишет к нему в стихотворном послании:

Надеждам ты не измени
Нам общей матери — России
И чудной «Альмой» в наши дни
Чудесного певца Марии
Нам замени, нам замени!

«Певец Марии» — Пушкин. В Соколовском видят нового Пушкина — ни более ни менее. Отрывки из его новых поэм «Хеверь» и «Альма» читаются в литературных гостиных.

И. И. Панаев: «...Многие заранее прокричали о ней (о поэме «Хеверь». — *В. К.*) как о чуде».

И. П. Сахаров (археолог): «Его «Альму» тогда всюду читали... (Тогда в рукописи, притом неоконченную)».

А. А. Краевский (в передаче *И. И. Панаева*): «У! это, батюшка, замечательный талант... Какой стих-то, — чудо!..»

В. А. Кречетов (в передаче *И. П. Сахарова*): «Ведь какой человек! Все принимают в нем участие; все видят в нем великого поэта».

Д. А. Каменский (из письма к *Я. И. Неверову*): «Соколовский идет в ход, — на днях выйдет из цензуры его «Альма», — это *chef-d'œuvre драмо-эпопеи*. Я слышал ее во время чтения самим поэтом и унес домой душу полную неподдельного восторга — диво!»

В салоне Карлгофов его называют «нашим Сильвио Пеллико»¹.

Стихи его появляются на страницах лучших русских изданий. В «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» — отрывки из незаконченной поэмы «Иван IV Васильевич». В пятом томе «Современника» (первом после смерти Пушкина) — отрывки из «Альмы»....

Печатается второе издание его поэмы «Мироздание»: Соколовский в перерыве между «дурачествами» продал его за сто рублей...

¹ Сильвио Пеллико (1789—1854) — итальянский писатель и общественный деятель, просидевший 10 лет в тюрьме за участие в движении карбонариев, автор книги «Мои темницы» (1832).

АКТ ВТОРОЙ

Да, им готовы гнев и муки!
На них сам бог идет с лозой,
И потому-то под грозой
У них у всех расслабнут руки...

*В. И. Соколовский. Разрушение
Вавилона*

«Слабость здоровья» не избавила Соколовского от ссылки. 6 марта 1837 года «государь-император высочайше повелеть соизволил титулярного советника Соколовского, подвергнутого в 1835 г. заключению в Шлиссельбургской крепости... определить на службу в Вологодской губернии под самым строгим надзором начальства...»

«Полумертвого» после Шлиссельбурга поэта отправили в холодную Володу — умирать.

Соколовский не был ни политиком, ни «опасной головой». Просто «в сгущающемся сумраке того времени он не давал потухать лампаде и играл в ту игру, которая известна под именем «жив курилка». Есть эпохи, в которые такая игра есть уже большая заслуга». Так писал выдающийся философ и поэт 1830—40-х годов А. С. Хомяков.

Предоставим слово документам: они бывают красноречивее описаний¹.

26 марта 1837 года министр внутренних дел Д. Н. Блудов запросил губернатора Болговского: «...Прошу вас немедленно донести, куда именно определен будет Соколовский».

Д. Н. Болговской (ответ): «Как Соколовский ко

¹ Очерк, в основном, построен на архивных материалах: дело Соколовского в архиве III Отделения (ЦГАОР, ф. 109, III Отд., 1 эксп., оп. 214, ед. хр. 14); дело Соколовского в Государственном архиве Вологодской области (ф. 18, оп. 2, ед. хр. 17); письма В. И. Соколовского к А. А. Краевскому (ГПБ, ф. 391, ед. хр. 720); письма В. И. Соколовского к А. В. Никитенко (ИРЛИ, 18684, СХХIV б. 3); поэма В. И. Соколовского «Альма» (ГБЛ, ф. 218, к. 1311, ед. хр. 2). Из работ о Соколовском укажем: Хмельницкая Т. В. Соколовский. — В кн.: Русская поэзия XIX века. Под ред. Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова. Л., 1929, с. 205—247; Поэты 1820—1830-х годов, т. 2. Сост., подг. текста и прим. В. С. Киселева-Сергенина. Л., 1972; Фортунатов Ф. Н. Несколькo слов о В. И. Соколовском. — Русский архив, 1865, № 10—11, стлб. 1396—1399.

мне еще не доставлен, то я долгом считаю об этом вашему превосходительству донести».

Министерство внутренних дел молчало полгода. В начале сентября пришел еще один запрос: «Департамент полиции исполнительной просит ваше превосходительство ускорить доставление отзыва... По делу об определении на службу во вверенной Вам губернии титулярного советника Соколовского».

Д. Н. Болговской (ответ): «...Имею честь уведомить, что по недоставлению его ко мне доньше никакого об нем распоряжения не сделано».

Министерство всполошилось: «антракт» затягивается! Государь «изволил повелеть» еще в марте, на дворе сентябрь, а тот, коему надлежит быть сосланным, болтается по Петербургу! В дело об «отправке» Соколовского включается сам шеф жандармов граф А. Х. Бенкендорф: Не доверяя «полиции исполнительной», он связывается с вологодским губернатором «на прямую»:

«27 сентября 1837 г. Секретно.

Милостивый государь Дмитрий Николаевич!

Государь-император в марте сего 1837 года высочайше повелеть изволил: титулярного советника Соколовского... определить на службу в Вологодской губернии под самым строгим надзором начальства. Высочайшая сия воля, по причине болезненного положения титулярного советника Соколовского, по сие время не могла быть приведена в надлежащее исполнение. Ныне же Соколовский получил облегчение в болезни, снабжен мною подорожною на проезд в Вологду, куда обязан он отправиться немедленно, не останавливаясь в пути....»

Повеления Бенкендорфа исполнялись безотлагательно. Его письмо Болговской получил 6 октября, а Соколовский прибыл в Вологду уже 29 сентября.

Первые вологодские впечатления нашли отражение в неопубликованном письме Соколовского к А. А. Краевскому. Оно настолько ярко раскрывает личность поэта, что мы приводим его почти целиком:

«2 октября 1837. Вологда.

Сегодня четвертые сутки, как я приехал в Вологду... Разумеется, что я на другой день был у губернатора, который принял меня очень благосклонно и едва ли не оставил при себе собственно; по губерниям — это самая

благородная служба для нашего брата молодого. Но служба еще впереди, потому что мне сперва надобен медик. В будущую пятницу, то есть едва ли не в тот самый день, когда ты получишь это письмо, я перееду из проклятого трактира в хорошую квартиру... А уж гостиница!..

Черно, и крысы, и мороз,
И запах — божье наказание:
Ей, право, след откинуть *гос* —
И взять бы *тинницы* названье!

Кстати о черноте!.. Писал ли я тебе из Тихвина (ведь ты получил оттуда, или из Сомины, письмо?) — писал ли я о ваксе? Кажется, нет!.. Ну, так вот в чем дело... Купил я в Питере у некоего Христофорова ваксы; банка престащенная!.. заплатил я красненькую, положил я эту ваксу в сундук с бумагами... Вот еду — вижу хорошо!.. приехал в Тихвин — вижу: худо!.. Сундук-то зевнул нижним концом и оскалился книгами... Нечего было делать: внесли сундук в комнату, вскрыли сундуку нижний конец, глядь — все растушевано!.. Престащенная банка лежит себе пустешенька, как ни в чем не бывало, а книги, бумаги и литературная газета одного моего приятеля так нафабрились, что из рук вон; только книги нафабрились обыкновенно, а литературная газета одного моего приятеля, плотно сдавленная большою шкатулкой, нафабрилась по одним краюшкам и вышла из-под шкатулочного пресса, как будто после кончины какого-нибудь великого человека... Да! нечего сказать! насолил мне этот переезд!.. Неприятное почти на каждом шагу: там, например:

Смотрительша с ребенком-плаксой;
Там каша гречная с золой,
Там одолжит сундук гнилой,
Упитанный раздольно ваксой;
Там, как бы ни был кто весел,
А ум его ямщик-осел
Скует унынья кандалами,
Когда в езде безбожно тих
Он трех *влачащихся* своих
Зовет, каналья, *соколами*,
А те дожили до поры,
Чтоб их пожаловать в *одры*...
Там в избах тараканьи тучи,
Там девки в мирной простоте,
И в юбках все, и юбки те
Преподозрительно пахучи;

Там в дырках мост и почва гать,
Где шагом должно вам шагать,
А вас колотит молотками
В подложку, темя и виски;
Дорога — мерзость: все пески,
А нет песков, зато местами
На доброй почве люди злы
И тянут с вас под ризой мглы
Ночную ризу — одеяло,
Чтобы на счет своих гостей
Укрыть под ними пыл страстей, —
Все это так меня доняло,
Что ваш лирический поэт
Чуть не погиб во цвете лет!..

Но разные Эбрейские силы хранили меня, и я остался в живых, назло Кукольнику и компании¹, которая, верно, подкупила новгородского исправника, чтоб он сломил мне шею на своих проклятых мостах...

Наконец, дорога моя начала оканчиваться...

Вот еду... еду, подъезжаю...
Любуюсь, видя Вологдú,
И говорю у ней в виду:
«Мое почтенье!.. Уважаю!..
Зато, губернский город наш,
И ты меня, мой друг, уважь!..»

Теперь вопрос: что такое Вологда?

— А бог ее знает!.. Прямо, гладко, чисто, опрятно, но раскинуто на миллион верст, и на этом пространстве 42 церкви и дома помещиков форменной архитектуры. Что же до общества, то я его вовсе не знаю и, кажется, не буду знать, по крайней мере, очень долго, затем что я едва ли не до нового года буду сидеть, закупорившись — так жестоко терзают меня безоблачные последствия нелепых лечений... Скажи, пожалуйста, Степанову, когда его увидишь, что доктор, общий наш с ним знакомец, слишком недобросовестно обманывал меня насчет качества моей болезни. Это из рук вон дурно!

Чтобы иметь понятие о здешних ценах, довольно рассказать, что я нанял квартиру в особенном флигеле, 4-ре светлых комнаты, потом передняя, потом

¹ Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) — драматург и поэт, представитель враждебной Соколовскому литературной группировки.

отдельная кухня, потом каретный сарай (это для водевиля «Кареты», который, вероятно, придет мне Лисенков, чтоб я не платил даром денег), потом конюшня (это для самых Кóней)¹, потом сад, потом огород, где я буду сажать капусту, как Гораций, потом дрова, вода, наконец, хорошая мебель — и все это за 336 рублей монетой. Повар и камердинер стоят мне 18 рублей в месяц. Зато перламутровые пуговицы здесь дороже, нежели в Петербурге.

...Кланяйтесь всякому из честной братии, кто только спросит обо мне с участием. Мой друг Кречетов дал честное слово проститься со мною и не заехал. Скажи ему, что он после этого *филин огородный*...

Читаешь это письмо — и на ум приходят письма Надеждина из Вологодской ссылки. Один жалуется на судьбу и на страдания. Другой весел, несмотря на то, что кончился антракт и начался второй акт трагедии, который, для разрядки зрительного зала, имеет в себе кое-что веселенькое... А дальше — полная обреченность.

Д. Н. Болговской — Д. Н. Блудову, министру внутренних дел: «Назначенный на службу в Вологодскую губернию под самым строгим надзором начальства титулярный советник Соколовский 29 минувшего сентября ко мне доставлен, но в должность еще не определен, по неимению по прежней службе аттестата или формулярного списка...»

Так в трагедии впервые появляется зловещее слово «аттестат». Завязывается новая коллизия: в действие вступает всемогущая российская бюрократия.

Впрочем, должность для Соколовского уже сыскана: 5 октября 1837 года Болговской сообщил покровителю опального поэта князю А. Н. Голицыну (рекомендательное письмо от которого Соколовский вручил вологодскому губернатору по приезду): «...Что же принадлежит до службы его при мне лично, то, желая угодить воле Вашей, я представлю его в чиновники особых поручений с жалованьем по 1200 руб., а вслед за тем дам ему занятие сколь возможно значительнее...»

Болговской пишет в будущем времени, ибо пока возникла одна остановка: у него нет аттестата о прежней

¹ Федор Алексеевич Кóни (1809—1879) — писатель и драматург, приятель Соколовского.

службе «титулярного советника», а без аттестата даже губернатор не имеет права определить его на службу. Впрочем, кажется, аттестат скоро пришлют...

АНТРАКТ

В. И. Соколовский — А. А. Краевскому, 9 ноября 1837. Из Вологды в Петербург: «Меня здесь очень обласкали. Многие приезжали знакомиться сами и, как все включительно желали чаще видаться со мной, то по общему соглашению у меня назначены дни: вторник и пятница, в которые приезжают ко мне вечеровать от 6 до 12 и более человек... Мы пьем чай, беседуем, читаем всякую всячину, потом опять беседуем, потом закусываем и, наконец, разъезжаемся. Главнейшие мои посетители (кабинетные) — это некто Макшеев, потом директор; инспектор и два старшие учителя гимназии, потом некто Дьяконов и, наконец, из поляков: Ярошинский, граф Пршездецкий и доктор Просинский. Вот тебе десять умных, добрых, обязательных и весьма хорошо образованных людей... Сверх того есть еще у меня посетители также добрые и умные, но играющие: эти садятся в гостиной — и дело идет как нельзя!.. Одно плохо: болен; но страшен сон — милостив бог...

Я собираю здешние идиотизмы. Когда накоплю побольше, перешлю к тебе, а покуда, ожидая сам приятного вечера, ибо сегодня вторник, желаю, чтобы перед первым рандеву тебе кто-нибудь *подкумошил*, то есть чтобы ты не смог...»

И еще один веселый документ:

Распоряжение Д. Н. Болговского Вологодской городской полиции, 4 октября 1837: «...Как Соколовский сюда уже прибыл, то предлагаю полиции иметь надежный, самый строгий надзор, включив его в общую ведомость о состоящих под надзором лицах».

АКТ ТРЕТИЙ

Осенью 1837 года Соколовский был назначен редактором только что открывшейся газеты «Вологодские губернские ведомости»¹ с жалованьем 100 рублей в месяц.

¹ См. об этом в следующем очерке.

В. И. Соколовский — А. А. Краевскому, 7 ноября 1837. Из Вологды в Петербург: «Да!.. говоря без всяких шуток, мне очень грустно... В крепости я был одинок поневоле, — и это одиночество меня не тяготило нисколько... Здесь я живу священной жизнью сердца и высокою жизнью мысли, а между тем, мне грустно донельзя, не потому, что мне надобно любви (не смейся!), мне надобно горячих вскипов, мне нужно сильных потрясений сердца, когда я качусь по колее благоразумия, а как у меня нет ни любви, ни вскипов, ни потрясений, — то мне очень грустно».

«Мечты, мечты, где ваша сладость?..» Много было в жизни Соколовского надежд и очарований: добрые начальники, большое жалованье, приличное общество, литературные связи в Петербурге, активная творческая деятельность. Только что вышла из печати его новая поэма «Хеверь» (по мотивам библейской «Книги Эсфирь»), написанная в Шлиссельбургском застенке. Дописывается новая поэма — «Альма». Задуманы и пишутся «Разрушение Вавилона», «Новоизбрание», «Искупающий страдалец»... Отчего ж и не помечтать?

Только куда они уходят, мечты?

Большое жалованье? Оно «числится» за Соколовским, но никто ему не выплачивает вождеденных ста рублей в месяц. Его не могут официально определить к должности «по неимению о прежней службе его аттестата или формулярного списка». Таков железный бюрократический закон. Неутомимый и жаждущий помочь Болговской рассылает во все концы России запросы и просьбы, но...

Ответ Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора графа П. К. Эссена (8 ноября 1837): «Означенный Соколовский на службе при канцелярии моей не состоял... я приказал подвергнуть Соколовского испытанию, в продолжение коего он... был задержан и отправлен в Москву, упомянутые же аттестат и прошение Соколовского препровождены мною туда же...»

Ответ делопроизводителя следственной комиссии С. М. Небольсина: «...Все бумаги, которые бывшая следственная комиссия нашла возможным возвратить находившимся под следствием лицам, вручены были им... но был ли в числе бумаг Соколовского аттестат его — неизвестно...»

Ответ Московского обер-полицеймейстера князя С. М. Голицына (15 января 1838): «...Тюк, принадлежащий титулярному советнику Соколовскому, выдан был под расписку смотрителю губернского замка штабс-капитану Толоконникову, а им, вместе с Соколовским, представлен в секретное отделение канцелярии г. Московского генерал-губернатора...»

Запрос Болговского на имя графа А. Х. Бенкендорфа (7 февраля 1838): «...Таким образом, с сентября минувшего года до настоящей поры время проходило в одной переписке, и Соколовский... без места и, следовательно, без способов для жизни. Такое чрезмерно стесненное положение необходимо вовлекло Соколовского в долги и вместе с тем крайняя неприятность подобных обстоятельств окончательно расстроила и без того уже совсем растерянное его здоровье...»

Ответ Енисейского гражданского губернатора В. Копылова (получено 31 марта 1838): «...Имею честь препроводить формулярный список о службе чиновника Владимира Соколовского, находившегося в Енисейском губернском совете экзекутором и уволенного в мае месяце 1831 года от службы по здешней губернии...»

Запрос Болговского на имя министра внутренних дел Д. Н. Блудова (5 апреля 1838): «...По поводу такого о Соколовском отзыва я имею честь покорнейше просить Ваше высокопревосходительство об определении его на свободную ныне вакансию младшего чиновника при мне по особым поручениям...»

Ответ Д. Н. Блудова (получено 5 июня 1838): «...Я определил сего числа титулярного советника Соколовского чиновником особых при Вас поручений...»

Итак, свои законные 100 рублей в месяц Соколовский стал получать через 9 месяцев после приезда...

«Приличное общество», столь ласково встретившее ссыльного поэта, потом тоже не подкачало и окружило его «биллионом сплетен». «Здесь на каждую собаку по три сплетчика и по одному фискалу. Это заметка для статистики» (из письма к Краевскому).

Сгрустнешь в тяжелой думочке,
Помолишься творцу,
И снова лезешь к рюмочке,
И снова к огурцу.

(В. И. Соколовский. Экспромт)

В начале 1838 года ссыльный поэт впал в «пагубную склонность» и запил с горя. Стремление Соколовского «покутить... немного больше» (Герцен) отмечали почти все мемуаристы. В Вологде же «предосудительная слабость» поэта приняла формы трагические.

Ф. Н. Фортунатов: «В 1838 году Соколовский поселился вместе с одним молодым почитателем его литературного таланта, Николаем Ивановичем Наваишиным, учителем словесности в местной гимназии, на одной квартире. Однако совместная жизнь с Наваишиным не могла повлиять на усиливающуюся страсть поэта к вину. Наваишину успел Соколовский внушить какую-то мизантропию, окончившуюся у него умопомешательством...»

Я рано счастье отравил
Пирами юности беспечной,
Наполнил, вспенил и испил
Я чашу сладких наслаждений...
Мне тесен был свободы круг;
Мне в жизни — жизни было мало,
Для чувств — мне сил не доставало,
И я желал жить дважды вдруг.

(*В. И. Соколовский. «Исповедь»*)

Где уж тут «жить дважды», когда и одна жизнь идет кувырком!

Литературный успех окрылил Соколовского еще в 1832 году: «Мироздание» ввело автора в «большую» литературу, имело успех шумный и заслуженный. В 1837 году «нашего Сильвио Пеллико» объявляют выдающимся русским поэтом, и от второй своей поэмы «Хеверь» он ждет успеха еще большего. Но — наступает похмелье...

И. И. Панаев: «Странность стиха Соколовского подействовала на меня так сильно, и я думал, что в этой странности-то и в самом деле заключается талант. «Хеверь» вскоре после этого была издана. Она, к удивлению нашему, произвела на всех тяжелое и неприятное впечатление... Едва ли этой «Хевери» разошлось до десяти экземпляров».

Время успеха «духовных поэм» Соколовского — прошло, и ветхозаветный облик «карающего бога» как нравственного кодекса при осуждении социального зла уже не принимался современниками. Пересказывая легенду о

женщине, спасшей народ от уничтожения, автор зовет ко всеобщему единению и любви на земле:

Пойдемте же, пойдемте, как друзья,
Как добрые и близкие родные,
На сладкий пир красот и чистоты,
Где вокруг столов живящей благоты
Кипят ключом отрады неземные..

Это был своего рода протест против мерзостей окружающей действительности, выраженный в напряженной романтической форме, с ее громоздкой метафоричностью, языком экспрессивным и неточным, допускающим неологизмы, экзотизмы и прочие «вольности» —

И радостно при свете наслажденья
Субботствовать в объятиях любви!..

Одним словом, «Хеверь» не поняли и не приняли, в Соколовском — разочаровались...

В. И. Соколовский — А. А. Краевскому, 8 марта 1838. Из Вологды в Петербург: «...Положим, что моя книга дурна, положим, что господа, получившие при самых учтивейших письмах экземпляры моей поэмы, совершенно непричастны никаким слабостям и ошибкам, положим, что я имел прежде предосудительную склонность, — все так!.. Ни книга, ни мое усердие, ни я — ничто и никто не заслуживает хорошего *спасибо* и ласки...»

Соколовский решился на последний шаг: поднести экземпляры своей поэмы членам императорской фамилии — вдруг да понравятся, да внимание обратят, да помогут!.. Но «всевидающий глаз» николаевских «пашей» — вмешался.

А. Х. Бенкендорф: «... Имею честь ответить, что находящийся на службе в г. Вологде титулярный советник Соколовский, как состоящий под надзором полиции, не может быть удостоен чести подносить сочинения свои Их императорским Величествам и Высочествам. Возвращаю вследствие чего доставленные... экземпляры сочинений Соколовского. Имею честь быть с совершенным почтением и преданностью...»

Куда денешься?

Один, в чужом холодном городе, без куска хлеба насущного (в прямом смысле: «без куска»), с тяжелой легочной болезнью, с приступами лихорадки и

головной боли, — живет ссыльный поэт по углам у многих знакомцев, не имея средств нанять квартиру...

Однажды... страшно вспомнить!
И давит грусть, и сердцу больно,
И жжет его тоска невольно,
И груди не дает вздохнуть...

(В. И. Соколовский. «Мироздание»)

В довершение всех бед — он влюбился. Влюбился без надежды на «счастливый конец» и без упований на взаимность. Ему 30 лет, он побит жизнью и смертельно болен. Ей — 16 лет, она — юная романтическая поэтесса.

«У нее самое обыкновенное лицо, даже немного смешное; глаза простые, как бывают у всякого порядочного человека; но если б ты знал, как я люблю встречать добрые взгляды этих простых глаз и как я засматриваюсь на ее добродушную улыбку — то ты, может быть улыбнулся бы, глядя на мои порывы, особенно если бы заметил при том, что и те добрые взгляды, и эта добродушная улыбка не говорят мне ничего, кроме слов *неизвестность и тайна*... Кажется, отец и мать заметили мои чувства, и за ней удвоен надзор, и ее стараются как можно удалить от меня; стало быть, надежды плохи... Не знаю, право, чем все это кончится» (из письма к Краевскому от 29 марта).

«Она» Соколовского — это Варенька Макшеева, дочь вологодского помещика Д. М. Макшеева. В Вологодском краеведческом музее выставлен стол из усадьбы Макшеевых (она находилась в Нижнем Осаново). За этим столом Соколовский сживал очень часто... Дмитрий Михайлович Макшеев, по воспоминаниям Ф. Н. Фортунатова, «желая удалить Соколовского от кутящего общества, увозил его несколько раз к себе в деревню...» Там поэт гостил по целым неделям, и очень скоро вступил с Варенькой в «литературную переписку».

Для Соколовского Варенька — создание необыкновенное: «В ней много солидного ума и дарования решительного; сверх того, своею огромной памятью она поглощает знания и языки, как губка воду, — и если в этих отношениях можно найти ей подобную, то, верно, не скоро.

Да!.. без особенных усилий
Едва ль сыскать другой пример:
В шестнадцать лет в руках Гомер,
В шестнадцать лет в руках Виргилий,
И, душ возвышенных кумир,
В шестнадцать лет в руках Шекспир.

И все это в оригинале, и во всем этом будут усовершенствоваться до весны, а там с помощью гувернантки, которую ждут из-за границы, примутся за Данта и Тасса. О Франции я уж и не говорю!» (из письма к А. А. Краевскому от 7 декабря 1837 г.)

Между прочими своими добродетелями Варенька Макшеева писала недурные стихи, и в знаменитом библиографическом словаре С. А. Венгерова ее имя упоминается в качестве второстепенной поэтессы 30-х годов прошлого столетия.

Соколовский пишет «томительные» письма и ревностно хлопочет о публикации стихов своей возлюбленной. Ее стихи печатаются, как правило, рядом с его собственными...

В. И. Соколовский — А. А. Краевскому, 29 марта 1838. Из Вологды в Петербург: «Я к тебе высылал как-то стихи Макшеевой «Будущность». Ты сказал Дм<итрию> Мих<айловичу>, что их потерял. Если это правда — вот тебе новый список и печатай его непременно; если это неправда и ты не печатаешь стихов потому, что они тебе не понравились, — то все-таки вот тебе новый список — и печатай его непременно, потому что это произведение лучше иных, которые по временам мелькают в твоём журнале».

Но — увы! — Варенька Макшеева — не «партия» для нищего поэта. Поэт-то он, конечно, поэт — но всего лишь «чиновник по особым поручениям». Да еще ссыльный — как еще дело обернется? Да еще больной... Да еще, говорят, поет...

Ф. Н. Фортунатов: «...Соколовский просил в длинном стихотворении у отца руки ее, но просьба эта была отклонена под предлогом молодости дочери».

Вареньку было проще выдать за какого-нибудь «устойчивого» помещика или «проезжего корнета», недалекого, «но блестящего»... Что и было сделано. Правда, чуть позднее.

В. И. Соколовский — А. В. Никитенко, 18 января 1838. Из Вологды в Петербург: «Одним словом, если

Петербург распек меня, то Вологда меня допекает — и, говоря без шуток, влияние здешней безжизненной жизни на душу так велико, что я замечаю даже решительную перемену в своем характере, который из кипучего холеризма переходит в томный меланхолический быт... Я отказываюсь от балов и вкусных обедов, чего прежде со мной никогда не бывало, и крепко полюбил грустить: это разрушает мою физику и потому нравится мне особенно...».

В начале февраля Соколовский заболел и проболел два месяца. Потом — пустился в работу над поэмой «Альма». Потом опять заболел. Так и тянулось.

Я весь в мечтаньях утонул,
А он, мой ангел, он уснул!
Да, он уснул, прошу покорно!

(В. И. Соколовский.
«Рассказы сибиряка»)

АНТРАКТ

Уже после смерти Соколовского вышел «Одесский альманах на 1839 год», где стихотворение В. Д. Максеевой «Поэту» (адресованное Соколовскому) помещено вслед за его «Одой стремления» (отрывок из поэмы «Альма»), в которой речь идет о возлюбленной... А попали эти строки в «Одесский альманах» через Н. И. Надеждина, с которым Соколовский встречался в Вологде зимой и весной 1838 года...

Я кличу клич: «Изящные счастливы!»
Итак, вперед, и, словно чародей,
Искусством ты чудесно завладей,
И рвись в лазурь и в божии разливы!

Ты знать должна, как славой сиротливы
Все рифмачи, потешники людей:
В их песнях нет ни чувства, ни идей,
Сих колосов богоколосной нивы!

Их каждый стих нарядно весь одет,
Но сущность в нем, — как суетность мирская:
Все тянет вниз, и вся пуста, как бред!..

Так вверх и вдаль! А даль-то ведь какая!
Святыи глагол, безбрежность рассекая,
Дарит ее!.. Смелей же в даль, поэт!..

(В. И. Соколовский. «К деве-поэту. Сонет»)

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Инспектор Вологодской гимназии Ф. Н. Фортунатов в 1867 году рассказал в своих воспоминаниях о неизвестной, ненапечатанной и утраченной «вологодской» поэме Соколовского «Альма». О ней Фортунатов отзывался как о поэме, «отличавшейся многими высокими поэтическими красотами и стоящей несравненно выше его прежних произведений».

«Альму» считали утраченной все мемуаристы (И. П. Сахаров, Е. А. Карлгоф, М. И. Семевский), но не так давно авторизованная копия поэмы с обширной авторской и цензурной правкой была найдена. Об этом, последнем большом произведении Соколовского следует поговорить особо.

Поэт Владимир Соколовский не принадлежал к какой-то определенной литературной «партии» или журнальной группировке. Его творчество лежало как бы в стороне от основного пути развития русской поэзии XIX столетия. Между тем он вовсе не был второстепенным поэтом.

Но у каждого писателя есть свое «до» и «после»: традиции, воспринятые им, и традиции, вопринятые от него. О тех традициях, которые развивал Соколовский в своем творчестве, говорить крайне сложно: у него не было чего-либо явного влияния, и, тем более, он никому не подражал. Это привлекает — самобытность, настойчивость и глубокая оригинальность творческих поисков.

В основе литературного наследия Соколовского — его «библейские» поэмы: «Мироздание», «Хеверь», «Разрушение Вавилона» и «Альма». Все они основаны на тех или иных сюжетах, почерпнутых из Библии, которую Соколовский очень ценил как литературный памятник. Но его поэмы — не просто стихотворное переложение библейских легенд, и взаимоотношения Соколовского с Библией далеко не так просты. У него не было религиозного благоговения перед текстом священного писания, и он не просто «прелагал псалмы», как делали многие. Библия избавляла поэта от необходимости выдумывать сюжеты, и в рамки всем известной «священной» истории он вкладывал свою собственную поэтическую и философскую мысль.

Именно такова поэма «Альма», работу над которой

Соколовский начал еще в Шлиссельбургской крепости (там была создана первая редакция поэмы), а окончил весной 1838 года в Вологде: здесь поэма была коренным образом переработана.

В основе сюжета «Альмы» лежит библейская «Песнь Песней царя Соломона», которую Горький назвал «величайшей поэмой о любви мужчины и женщины». Польский исследователь З. Косидовский пишет, что «Песнь Песней...» «ошеломляет своей подлинно восточной чувственностью». Ученые объясняют включение ее в канонический текст Библии непререкаемостью авторитета великого царя Соломона: он не мог написать «кошунственную» поэму — значит, это религиозное чувство в форме любовной аллегии, приданной поэме для большей «доходчивости». Христианство предложило «официальное» толкование «любвонной» поэмы: «Возлюбленный — это сам Иисус Христос, возлюбленная — церковь или душа христианина, а в «хоре» под видом друзей возлюбленной пары скрываются ангелы, пророки и патриархи» (З. Косидовский). Многие мыслители давали самые разнообразные толкования «Песни Песней...». Многие поэты стихотворно перелагали ее: Г. Р. Державин, И. А. Крылов, А. С. Пушкин (он собирался переложить всю поэму в 1825 году, но написал лишь два фрагмента: «Вертоград моей сестры...» и «В крови горит огонь желанья...»), А. А. Фет, Л. А. Мей, К. М. Фофанов, В. Я. Брюсов, А. А. Блок и другие.

Все-таки поэма Соколовского уникальна. Его замысел исходил из романтического переосмысления самой сущности библейского канона. «Альма», как писал Фортунатов, «изображает беседы Руага (духа, жениха) и Альмы (души, невесты)». Это беседа любящих «душ» и «анатомия любви» в ее духовном смысле. В русской поэзии нет ничего подобного этому замыслу.

«Альма» — своеобразный итог творчества Соколовского: здесь и его мысли о роли поэта и о том, что должно быть предметом поэзии. Здесь — его философия и ответы на «вечные» вопросы: как человек может познать мир? что есть истина? что есть основа мироздания? что было в «начале» мира и что будет «в конце»? Все это излагается очень стройно, последовательно, «от просто-го к сложному»...

Отгрянь, как гром, — Поэзии гений!
Звучи, мой стих, как эхо гор!

Кипи, душа, блести, мой взор,
От светолучных вдохновений!..

Так начинает Соколовский и постепенно ведет читателя к своему пониманию истины — гармоническому цельному восприятию мира... Одну за другой открывает он двери в мир «таинств» — и эта последовательность и есть как раз тот «стержень», на котором держится вся поэма. Эту постепенность он подчеркивает и названиями частей поэмы — это не главы, а «восходы», то есть ступени, которые одна за другой ведут к самому главному, к самому сложному в мире.

Это типично романтическая идея: кому же, как не поэту, обращаться к «высоким» материям, когда поэзия способна постигнуть не просто истину, а «мирообъемлющую» истину! Соколовский склонен больше верить тому, что он *чувствует*, чем тому, что он *понимает*, ибо, как писал позже А. К. Толстой, «бог дал нам чувство, чтобы идти дальше, чем разум». То же — в «Альме»:

Сначала *сердцем*, а потом
И разуменья чистым светом,
Чтобы объемно и вполне
Узнать душой о вышине!

Познание мира через «чувство» поэт представляет так:

Тут скрытых нет соображений,
Ни форм, ни слов, ни знаков нет,
Чтоб ими выразить предмет, —
Тут только море восторжений,
Да ливень блесков без числа,
Да в этом ливне рай тепла...

«Дух», «душа», «духовность» — любимые слова поэта Соколовского. У него встречаются такие неожиданные сочетания, как «душевный дом», «душевный взор» (не в смысле «добрый», а в смысле «принадлежащий душе») и т. д. Им Соколовский противопоставляет то, что он назвал «плотянность» (бездуховность). В этом отношении даже христианские символы (троица, дух, вода, хлеб, кровь) предстают у него не в их богословском, а в чисто философском значении.

Звучность и необычность стиха Соколовского удивляют. В утонченном, возвышенном мире его поэмы не хватает «обыкновенных» слов, и отсюда являются неологизмы: «запотешиться», «детствовать», «светолучный»,

«взмет» — десятки новых слов, за которыми стоят необычные, новые значения, влекущие к «новому» мироустройству... Все это отнюдь не было характерно для жанра «божественной» поэмы, и все это определило ее дальнейшую невеселую судьбу.

В. И. Соколовский — А. А. Краевскому, 10 января 1838. Из Вологды в Петербург: «Только четыре части «Альмы» переписаны набело; остальные три даже не переправлены, — впрочем, в феврале я все-таки надеюсь представить ее на снисходительное рассмотрение князя Александра Николаевича <Голицына>».

Успех «Альмы», посланной камергеру двора, ссыльный поэт связывает с изменением своей участи: «Хеверь» потерпела неудачу — что-то будет с «Альмой»? План Соколовского таков: А. Н. Голицын заручится поддержкой поэта В. А. Жуковского и обратится с просьбой к министру просвещения графу С. С. Уварову. Поддержка последнего означала бы полный успех в цензурном комитете, а там...

Отзыв В. А. Жуковского (в передаче А. Н. Голицына): «...Василий Андреевич пишет ко мне, что в «Альме» заключается много прекрасного, что автор ее (как он уже доказал то и первую свою поэмою «Мироздание») имеет высокий поэтический талант, превосходно владеет языком, словом, достоин особого внимания; по его мнению, самое дарование его весьма бы усовершенствовалось, если б судьба его изменилась к лучшему».

Отзыв В. А. Жуковского (в передаче Ф. Н. Фортунатова): «Как мне известно, Соколовский посылал поэму свою на просмотр Жуковского, с некоторыми заметками карандашом возвратившего ее Владимиру Игнатьевичу; так, например, после заглавия «Альма» у Соколовского следовало: «Божественная комедия с хорами и танцами», — это зачеркнуто было Жуковским».

Отзыв В. А. Жуковского (в передаче М. И. Семевского): «Рассказывают, что Жуковский по прочтении ее («Альмы». — В. К.) взял себя за голову и сказал: «Вот поэт, который убьет все наши дарования!».

А. Н. Голицын послал поэму «на просмотр» С. С. Уварову, присоединив к положительному отзыву Жуковского свою горячую просьбу о разрешении «Альмы» к печати, присовокупив, что «милость сия возбудит в Соколовском новые силы и вдохновение и для других подвигов на поприще словесности».

Уварова трудно было смутить подобными «поэтическими» просьбами. Он отвечал: «Не имея в виду одобрение поэмы г. Соколовского духовною цензурою, мне нельзя ходатайствовать... о всемилостивейшем пособии для напечатания».

А «духовная» цензура «Альму» к печати не пропустила.

Впрочем, к тексту поэмы цензура все-таки «прикоснулась»: в нем много исправлений «рукою властною»: имя «Руаг» везде переправлено на «царь», «любовь» выброшена, «божество» — вставлено...

Потом «Альма» затерялась. До сих пор она не опубликована.

Да и интересны ли сегодняшнему читателю «вечные» вопросы полуторастолетней давности?

Такие вот шутки выкидывает с иными талантливыми произведениями безжалостный «литературный процесс». Уж с ним не поспоришь...

ЭПИЛОГ

И будет все — твоей виной.
Твоими смертными грехами;
Ты не спасешься ни слезами,
Ни мукой сердца, ни мольбой...

В. И. Соколовский. Мироздание

В. И. Соколовский — А. А. Краевскому и И. И. Панаеву, 23 августа 1838. Из Вологды в Петербург: «...В Петербурге я пользовался (лечился. — В. К.) дурно; в Вологде моя прежняя предосудительная слабость и невежа-врач доконали меня совершенно... Здесь я один на чужой стороне; никто за мной не присмотрит, никто не поможет мне, страдающему и расслабленному... сверх того, принимаемые мною ныне ванны не позволяют и думать, чтобы я мог, при совершенном своем изнурении и расстройстве, выдержать здешнюю суровую зиму...».

Соколовский стремится к спасению. В тот же день, 23 августа, он отправляет письмо в III Отделение, Л. В. Дубельту:

«Самая высокая милость, которая могла бы всего более способствовать поправлению моих обстоятельств, состоит в том, чтобы в уважение к беспомощности моей и страданий, мною претерпеваемых, мне было бы позво-

лено, оставя службу, жить у родной сестры моей в Москве, где доктор Гааз и доктор Иноземцев, столь известные своим искусством, могут воспользо­вать меня...

Если же мне не суждено воспользо­ваться подобным снисхождением к моей участи, то я всепокорнейше испрашиваю у Вашего превосходительства одолжить меня своим ходатайством о том, чтобы мне дозволено было, не оставляя службы и получа отпуск, съездить в Москву до излечения болезни...

Наконец, если я недостоин и сей милости, несмотря на то, что здесь погибель моя неизбежна, я осмеливаюсь просить у Вашего превосходительства, чтобы меня перевели на Кавказ...».

И бюрократическая машина снова за­вертелась.

Запрос министра внутренних дел А. Н. Мордвинова Д. Н. Болговскому (1 сентября 1838): «...Действительно ли положение Соколовского таково, каким он его описывает, и заслуживает ли он по службе своей и поведению просимого им снисхождения?..».

Ответ Д. Н. Болговского (15 сентября 1838): «Действительно, Соколовский в том точно положении, как он и лекарь его описывают... что же принадлежит до службы и его поведения, то первую я не имею права быть недовольным, а относительно последнего он столь давно болезнен, что лишен даже и способа вести себя дурно. Итак, этому страдальцу христианское пособие совершенно необходимо...».

25 октября 1838 года Николай I «все­милостивейше повелеть соизволил: перевести его на службу в Кавказскую область в продолжении за ним строгого надзора начальства, дозволив при проезде через Москву пребыть там три недели для поправления здоровья...»

К этому времени больной Соколовский уже почти не мог двинаться и вынужден был задержаться в Вологде «вплоть до облегчения тягостного положения». Уехал он, как только ему стало немного легче, — 23 декабря. Вслед за ним была выслана депеша по всем почтовым станциям: над титулярным советником Соколовским учрежден «надзор», и «надзора» этого ослаблять не дозволяется на всем пути следования оного Соколовского на Кавказ...

А в Вологде — новое осложнение. Оказалось, что казначейство недодало Соколовскому 285 рублей 82 копейки серебром! Последние 15 документов архивного дела

его посвящены как раз этому животрепещущему вопросу о деньгах. Запросы к губернатору: надо ли высылать? Запросы в губернское правление: стоит ли выдавать? Снова запросы к губернатору: если не выдавать, то что с ними делать, а если выдавать, то куда отсылать?..

В Москве Соколовский самовольно задержался на три месяца. Доктора признали его обреченным, и он выехал в Ставрополь уже безо всякой надежды на выздоровление... Но «надзор» продолжался, и с почтовых станций аккуратно посылались депеши о «благополучном следовании» титулярного советника Соколовского: «высочайшего повеления» никто не отменял...

Газета «Санктпетербургские ведомости», № 266 от 19 ноября 1839: «17-го октября скончался в Ставрополе (Кавказском) известный русский поэт В. И. Соколовский, автор «Мироздания», «Хевери», «Альмы» (ненапечатанной) и многих других произведений».

ПЕРВАЯ ВОЛОГОДСКАЯ ГАЗЕТА

Едва ли у нас в Вологде не будет с нового года выходить газета... Тогда-то я вас допеку.

Из письма В. И. Соколовского к А. А. Краевскому, 2 октября 1837 г.

1. ПОЧИН

Тридцатые годы прошлого столетия были «бюрократическим» периодом русской истории. Николаевская система озаменована была казенщиной, муштрой, «выровненным порядком» (Герцен) и канцелярщиной, которая пышным цветком зацвела на гниющей почве самодержавно-феодального государства. Каждое самое мелкое дело требовало вороха отношений, казенной переписки, циркуляров, запросов, ответов на запросы, десятков «росписей»: просящих, разрешающих прошение, подтверждающих разрешение, снова просящих и указующих и, наконец, исполняющих... Каждый циркуляр переписывался бесчисленной армией безответных Акакиев Акакиевичей и через тысячные полчища «кувшинных

рыл» (Гоголь) шел по бесконечным «инстанциям» и часто, затерявшись, не доходил до нужной «инстанции».

Бюрократия была необходима: она стала воздухом николаевской империи. Она же, в конечном счете, погубила николаевскую систему — потому что это был зараженный воздух.

В Вологодском архиве хранится интересный документ на 545 листах, посвященный несостоявшемуся путешествию государя-наследника (будущего царя Александра II) по Вологодской губернии, которое планировалось в мае 1837 года. «Дело» тянулось два года и включило в себя множество рапортов: о состоянии проезжей дороги, о мерах по ее улучшению, о подготовке встречи, о платах за несостоявшиеся «прогоны», о том, как предполагается потчевать высокого гостя в таком-то месте... Сколько людей составляли эти депешки о состоянии дорог! Сколько писарей их переписывали! Сколько курьеров их доставляли! Сколько овса съели загнанные ими лошади! Сколько чернил и бумаги было изведено — а бумага и чернила были тогда очень дорогими... А вологодские дороги так и не порадовали глаз своим «приличным состоянием»...

Опасность всеобщей бюрократии была почувствована правительством к концу 1830-х годов, и тогда же именным указом Николая I было предписано создать сеть губернских газет.

Цель этих газет была вовсе не «просветительская», даже не «пропагандистская». Они должны были служить чисто практическим потребностям — облегчить слишком громоздкий правительственный аппарат. Предполагалось помещать в них указы (правительственные и губернские), объявления о созывах Дворянских собраний и о поимке беглых крестьян, частные предписания уездам и выговоры. В них «долженствовали быть помещаемы» объявления о прошениях и об учреждении новых должностей, об определении, перемещении и увольнении чиновников, об удалении с должности и предании суду, о таксах за проезд через мосты и переправы, о пойманных бродягах и найденных мертвых телах, о потере паспортов и актов, о вызове к поставкам и откупам, о рыночных ценах, о публичной продаже имущества, о болезнях и эпидемиях — да мало ли о чем еще! Сметы, раскладки, отчеты, уведомления — вся «казенная» жизнь губернии должна была отразиться в

газете. Преследуя практическую цель «облегчения казенной переписки», газета должна была стать символом государственной власти.

Параграфы, уставы, закавыки бюрократической жизни будоражили николаевскую империю. Царский указ о губернских газетах был подписан еще в 1834 году. Все ступеньки министерств и канцелярий он прошел лишь три года спустя.

В сентябре 1837 года, скрепленный необходимыми бумагами и подписями, императорский указ был доставлен в Вологду.

13 октября дело разбиралось в Вологодском губернском правлении. «Сего числа имели рассуждение, что по вновь созданному положению о порядке производства дел в губернских правлениях и самое печатание при здешней губернской типографии должно значительно уменьшиться»¹.

Над этим глубокомысленным замечанием думали больше месяца.

17 ноября за это дело принялся лично губернатор, генерал-лейтенант Д. Н. Болговской. Он решил начать с типографии.

«А как при оной пока имеется только один стан (станок. — В. К.), а равно и литер только для одного стана, и потому, соображаясь с потребностью, необходимо нужно учредить еще другой стан с потребным числом литер, и для того приказали отнестись в Москву к содержателю типографии Селивановскому, чтоб уведомил:

а) сколько потребно литер для двух станов по Мителю под № 22-м;

б) почем за пуд сии новые литеры с обращением ему 32-х пудов таковых же старых, доставленных от него в марте м-це 1835 года, и

в) сколько нужно для двух станов наборщиков и чего будет стоить один стан с правым винтом.

Для чего и передать с сего постановления в канцелярию г. начальника здешней губернии засвидетельствованный список...»

Великолепный образчик николаевской бюрократической фразеологии! Сколько подобных ему шедевров хра-

¹ Здесь и далее приводятся выдержки из дела «Об открытии губернской типографии и издания «Губернских ведомостей» — ГАВО, ф. 18, оп. 1, ед. хр. 739.

нится в архивах! Если бы существовала наука о том, как портить русский язык, то неистощимая жила открылась бы ученому в этих выцветших оборотах.

Однако именно этим документом открывается дело об организации в Вологде типографии. Оно, право же, затянулось бы на многие годы, если бы не Д. Н. Болговской, бывший весьма талантливым администратором. Болговской, взяв дело в свои руки, решил ковать железо, пока горячо.

Тысяча рублей, необходимая для покупки печатного станка, была взята из Приказа общественного призрения: здесь вологодский губернатор, по примеру прочих губернаторов, решил сэкономить на больницах и приютах. Потом Болговской долго торговался с откупщиком казенных типографий Н. И. Селивановским по поводу стоимости станка и литер, пока, наконец, в начале декабря из Москвы не было доставлено 40 пудов литер по 50 рублей за пуд.

Тот печатный «стан», который уже был в Вологде, являлся, скорее, украшением города. На нем ничего не печаталось: не было наборщиков. Таковых Болговской решил искать в Ярославле, где типография была организована тридцатью годами раньше. Туда был послан (по-нашему: «в командировку») старший помощник правления губернаторской канцелярии Протодьяконов (он потом стал корректором газеты) «для собрания по данной ему инструкции подробных сведений об устройстве губернской типографии». Вместо «сведений» Протодьяконов привез из Ярославля некоего «мещанина Новикова», который организовал «устройство типографии» и в две недели обучил четырех грамотных мужиков «наборному делу».

К середине декабря типография дала первую продукцию: было отпечатано типовое «Объявление» и по всем уездам были разосланы тоже отпечатанные «подписные листы» на газету.

Болговской пишет письмо за письмом Селивановскому с просьбой прислать «таллер и пиам большого формата». Он отправляет гневные распоряжения в уезды с приказом «ускорить подписку». В канцелярии губернского правления организуется особый отдел, в котором начинают собирать и проверять материалы, «долженствующие быть в газете»... Разворачивается кипучая деятельность, в результате которой за два месяца, ноябрь

и декабрь 1837 года, и газета, и типография были готовы, и подписка была проведена, и материалы — собраны.

И самое главное — Болговской, человек дальновидный, решил пойти дальше Николая I и не ограничиваться в газете только указами, объявлениями, сметами и отчетами. При «Вологодских губернских ведомостях» с самого начала была запланирована «неофициальная часть», то есть газета в собственном смысле этого слова, часть «просветительская» и «пропагандистская», где помещались бы «неказенные» новости, статьи и даже стихи. Тут-то и потребовался образованный и литературно одаренный редактор: им стал прибывший в Вологду опальный поэт В. И. Соколовский, о котором шла речь в предыдущем очерке.

2. «ПЕРВЫЙ НУМЕР»

Несмотря на приказания губернатора, подписка на газету шла довольно медленно: чуть ли не до середины 1838 года. Привычки к печатному слову у читателей 1830-х годов еще не было, тем более в глухих российских захолустьях. И когда в глуши уезда находился человек, который не пожалел десяти рублей за годовое издание «Вологодских губернских ведомостей», — это воспринималось как своеобразное событие. Так, исправник Никольска с восторгом сообщает губернатору о трогательном факте: в уезде нашелся-таки один подписчик: «3-й гильдии купец Степан Иванович Базилевский». Письмо никольского исправника исполнено такой гордости, что, кажется, и впрямь это имя и этот поступок может быть занесен золотыми буквами на скрижали истории!..

Как бы то ни было, в 1838 году газета достигла большого тиража: 300 экземпляров! По тем временам такой тираж, да еще для губернской газеты, да еще для вновь созданной газеты, — был, действительно, внушительным.

«Инструкция редактору «Вологодских губернских ведомостей» г. титулярному советнику Соколовскому (ноябрь 1837).

1-е. Газета сия выходит по субботам.

2-е. Газета ограничивается известным один раз числом листов, — разве в экстренных случаях добавляется приложением.

3-е. Она пополняется: а) предметами официальными и б) частными.

4-е. Предметы официальные будут доставлять из губернского правления.

5-е. Предметы частные будут зависеть от выбора их редактором.

6-е. Для сего все газеты и журналы, какие правлением получают, будут ему доставляемы.

7-е. Статьи, к печати им избранные, представляются к моему утверждению.

8-е. Сверх сего и собственное произведение редактора может быть печатано, но не иначе, как с моей цензуры.

9-е. Корректор подчиняется редактору.

10-е. Относительно же производства дела в типографии редактор имеет сношение с советником губернского правления Флоренским.

Губернатор Болговской».

В ноябре 1837 года, еще до официального «определения к службе», В. И. Соколовский принял в свои руки редакцию газеты. Состояла эта редакция из двух сотрудников: сам Соколовский (жалованье 100 рублей в месяц) и корректор Протодьяконов (50 рублей в месяц). Вначале, правда, корректором был некто Знаменский, но он на свои 50 рублей умудрялся ежедневно напиваться — и был с позором изгнан.

Долго ли, коротко ли (об этом в документах, к сожалению, ничего нет), первый номер газеты был собран, сверстан, опкорректирован, отпечатан — и к новому году вышел в свет.

Соколовский редактировал «Вологодские губернские ведомости» недолго — не более двух месяцев. Но «лицо» газеты создал именно он, и создал вполне профессионально. «Вологодские губернские ведомости» издавались вплоть до Октябрьской революции, сменили множество редакторов, но, несмотря на калейдоскоп пройденных «эпох», почти не изменили того «стиля», который задал Соколовский в самых первых номерах.

В объявлении на издание неофициальной части «Вологодских губернских ведомостей» там предполагалось публиковать действительно «неофициальные» вести: о рыночных ценах, о курсе на золото и серебро, о чрезвычайных происшествиях, о способах улучшения сельского хозяйства и домоводства, о метеорологических наблюдениях и состоянии урожая, о судоходстве и торговле,

«о замечательных в губернии чрезвычайных явлениях по всем царствам природы», «разные достойные любопытства исторические о губернии сведения» и прочее подобное. Газета принимала (за плату) и «частные извещения»: о продаже недвижимой собственности, об отдаче в наем, о предложении услуг, об украденных вещах, о должниках... Словом, «неофициальная часть» предполагалась как сплетница губернского масштаба...

Соколовский сразу же разрушил это представление. Первый номер первой вологодской газеты, вышедший 1 января 1838 года, открывался ... стихотворением:

На Новый год

Как исполин в быту природы,
Огромным шагом век идет,
И в поле жизни сыплет годы,
И мир к созрению ведет!

В пирах веселых ликоваьем
Наставший год встречает свет,
И мы полезным начинаьем
Дадим пришедшему привет!

Итак, вперед к полезной цели;
Но чтоб успехи приобрести,
Пускай нам будет в каждом деле
Девизом: польза, слава, честь!

Стихотворение не подписано, но не нужно быть специалистом по лингвистической атрибуции текстов, чтоб установить, что автором этого незатейливого, написанного «на заказ» произведения был сам редактор: та же немного тяжеловесная система художественных средств, что и в других его стихах и поэмах, та же любовь к новообразованным словам («созрение»), те же характерные архаизмы типа «приобрести», те же затейливые метафоры и олицетворения: «в поле жизни сыплет годы»...

Предисловие тоже принадлежало перу Соколовского. Оно излагало программу газеты и заканчивалось так: «В программе сей ясно и отчетисто (опять новообразованне. — В. К.) объяснена польза губернской газеты, но сверх того мы обязываемся доставлять к сведению губернии все замечательное, любопытное и полезное».

В материалах первого номера «Ведомостей» очень ярко прослеживается установка на «серьезную» развлекательность. Здесь помещена речь губернатора к дворя-

нам, «избранным на разные должности», а вслед за ней — «Описание гимназического акта» (составленное Ф. Н. Фортунатовым). Здесь начала печататься интереснейшая и до сих пор не утратившая научного значения «Вологодская хроника» И. Слободского (первый номер охватывает события с 900 по 1392 год).

В разделе «Разные известия» — сообщение «о новых ярмарках в Вологодском уезде» и об издании «Лесного журнала». В разделе «Смесь» — характерные сведения типа: «Об употреблении крапивы», «Средство против зубной боли» — и «дней минувших анекдоты», почерпнутые из присылаемых газет и журналов.

Общий тон «первого номера» вологодской газеты — серьезный и доброжелательно шуточный. Собственно говоря, это тон сочинений самого Владимира Соколовского.

Сразу же после нового года «первый номер» был разослан «по инстанциям». 23 января 1838 года А. Х. Бенкендорф представил его на высочайшее рассмотрение Николаю I.

Из письма Бенкендорфа Болговскому: «Рассмотрев и одоблив оный, Его величество высочайше повелеть соизволил, чтобы герб губернский, который должен находиться как в заглавии «Ведомостей», так и на каждом из отдельных листов для особых статей, входящих в состав официальной оных части, был изображен точно так, как оный, согласно высочайше утвержденному 27 февраля 1834 года Положению о губернских мундирах, изображается ныне на пуговицах мундиров губернских чиновников, то есть с императорскою над гербом короною...».

Больше никаких замечаний Его величество сделать не соизволил...

На основании царственного одобрительного отзыва Министерство внутренних дел составило подробный рескрипт с признанием, «что сии «Ведомости» издаются вообще в удовлетворительном виде и соответственно цели их учреждения...»

Это официальное признание не избавило газету от неприятностей, в частности цензурного характера: через несколько дней последовал выговор от министра за перепечатку в одном из первых номеров «объявления о продаже билетов на 51 классную лотерею Царства Польского», принятого от ссыльного поляка, жившего

в Вологде. За эту «оплошность» Соколовский получил официальный выговор...

Впрочем, уже в феврале Соколовский, измученный безденежьем (его официально не принимали на службу, ибо не могли отыскать его аттестат) и болезнями, испросил у губернатора (а тот — у шефа жандармов) шестимесячный отпуск. В отпуске ссыльному было отказано, но от «Ведомостей» редактор отошел сам собой...

А газета — продолжала выходить. Кой-какие материалы набирают чиновники канцелярии губернатора: Протодьяконов, Флоренский, Жаворонков (от них, кроме этих «семинаристских» фамилий, ничего не осталось в истории). Но где уж провинциальным Акакиям Акакиевичам справиться с таким капризным делом, как газета!

Нужен был человек, который объединил бы все разрозненные усилия вологодских литераторов и ученых, который сплотил бы их вокруг нового печатного органа, который повел бы эту громадную работу, как бы мы теперь выразились, «на общественных началах», не получая за нее ни копейки (официальный-то редактор — Соколовский, хотя и тот ни копейки не получает!).

Таким человеком стал инспектор Вологодской гимназии Федор Никитич Фортунатов.

3. ОДИН ИЗ ФОРТУНАТОВЫХ

Углубимся в историю.

22 сентября 1786 года состоялось открытие Вологодского главного народного училища, на котором речь держал учитель Иона Федорович Фортунатов, дядя Федора, учительствовавший еще в те далекие времена, когда ремесло педагога не приносило ни жизненных благ, ни почета, ни удовлетворения, когда про учителя говорили: «Звание убо велико, чести же никакой». Иона Фортунатов был выписан из Москвы генерал-губернатором Вологодским и Ярославским А. П. Мельгуновым специально для того, чтобы преподавать в новооткрытом училище.

Так началась в Вологде учительская фамилия Фортунатовых. Брат Ионы — Алексей Федорович — стал в Вологодской гимназии учителем естественной истории и в начале XIX века опубликовал две книги: «Метеорологические наблюдения и разные физические замечания,

сделанные в Вологде» и «Вологодский провинциальный словарь».

Ф. Н. Фортунатов принадлежал ко второму поколению этой семьи. Его биография, как вообще все учительские биографии, не богата событиями. Родился в 1814 году в Вологде. Учился в Вологодской гимназии и в Санктпетербургском университете (о годах учебы оставил великолепные воспоминания¹). С 1833 года он — педагог в Вологде. С 1838-го — инспектор Вологодской гимназии, скромный труженик, которого не очень-то ласкают «отцы города». В 1852 году он переехал в Петрозаводск директором Олонецкой губернской гимназии. К этому времени он известен уже как автор педагогических статей и исследований: «Каков должен быть наставник?», «Источники успехов нравственного воспитания в учебных заведениях» и т. п. Умер он в 1872 году, будучи известным педагогом: энциклопедический словарь характеризует его как педагога «выдающегося»...

Сыновей его ожидало блестящее будущее — они стали известными специалистами в различных областях знания. Степан Федорович Фортунатов — выдающийся русский историк. Алексей Федорович — известный астроном и статистик. Филипп Федорович — великий языковед с мировым именем, основатель «московской» лингвистической школы. Все они родились в описываемое нами время в Вологде.

В Вологде 30—40-х годов Ф. Н. Фортунатов был очень интересной фигурой. Умный и интересный собеседник, талантливый организатор, он стал в центре литературной жизни губернского города. Обладая мягким характером и глубокой эрудицией, он быстро привлекал к себе самых разных людей. С ним сближаются Надеждин и Соколовский. К нему непременно заезжают именитые гости Вологды, писатели и ученые М. П. Погодин (в 1841 году) и С. П. Шевырев (в 1847-м)... Именно ему приносят свои рукописи молодые вологодские литераторы.

В конце 1830-х годов вокруг него группируется большой литературный кружок, о котором с теплотой отзывался Соколовский в приводимом выше письме к А. А. Краевскому. «Инспектор здешней гимназии» в этом кружке — самый деятельный, и самый «положи-

¹ См.: Русский архив, 1864, № 4, с. 285—299.

тельный», и самый бескорыстный. Именно он, когда потребовалась его помощь, добровольно взвалил на свои плечи всю «неофициальную часть» «Вологодских губернских ведомостей» и потом лишь чуть-чуть «обмолвился» об этом в своих воспоминаниях...

К 1840-м годам у Фортунатова складываются обширные и довольно прочные литературные связи: А. А. Краевский, П. А. Плетнев, Н. И. Надеждин в Петербурге, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, И. И. Дмитриев — в Москве. Он активно пользуется этими связями, хотя сам в этот период почти ничего не пишет. Он учитель — и активно помогает своим ученикам. Так, 16 декабря 1847 года он пишет С. П. Шевыреву поздравление к рождеству и обстоятельно рассказывает о праздновании в гимназии 700-летия Вологды — и с этим письмом не упускает возможности послать и «два сочинения», чтобы их напечатали в журнале «Москвитянин»:

«Одно из них, «Семисотлетие Вологды», ученика 4-го класса нашей гимназии Зарленда; оно приготовлено к прочтению на акте, имеющем быть 21 декабря, в будущее воскресенье... Другое сочинение принадлежит гувернеру за вольноприходящими учениками, бывшему воспитаннику нашей гимназии И. Н. Муромцеву; жаль, что далее гимназии не имел он средств продолжать свое образование; он большой любитель русской старины и исторических изысканий. Описываемый им путь на Каменный остров Кубенского озера Вам знаком. Если пригодна статья эта для «Москвитянина», он готов и еще высылать...»¹.

В 1860-е годы Фортунатов, живя в Петрозаводске, становится самым активным вологодским краеведом. Любовь к Вологодчине жила в нем с юности — тогда же он начал собирать краеведческие материалы. Так, в 1837 году он передал Н. И. Надеждину материалы для статей «Вологда», «Вологодская губерния», «Великий Устюг», которые тот, обработав, опубликовал в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара. В 1838 году в «Вологодских губернских ведомостях» (в нескольких номерах подряд) был напечатан его интереснейший «Географический и статистический очерк Вологодской губернии».

¹ ГПБ, ф. 850, ед. хр. 585; см. также письма Ф. Н. Фортунатова: С. О. Бурачку (1843) — ИРЛИ, ф. 34, оп. 1, ед. хр. 196; П. А. Плетневу (29 марта 1846) — ИРЛИ, ф. 234, оп. 3, ед. хр. 697.

В 1841 году он дал ряд исторических материалов М. П. Погодину (в частности, материалы о Спасо-Каменном монастыре), которые тот опубликовал в своем путевом дневнике. В 1847 году Фортунатов был «сопроводителем по Вологде» С. П. Шевырева, который поместил его «исторические объяснения» в книге «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь».

В середине 1860-х годов Фортунатов пишет серию статей о Вологде, которые по праву стали «классикой» краеведческой литературы. Статьи эти публикуются в журнале «Русский архив» под примечательными заглавиями: «Еще об Анике-воине (заметка Вологжанина)»; «Заметки и дополнения Вологжанина к статье об А. П. Мельгунове (Из записок, семейных бумаг и памяти)»; «Памятные заметки Вологжанина»¹ и т. п. Некоторые из этих статей, до сих пор не опубликованные, хранятся в Пушкинском Доме: «Воспоминания Вологжанина о В. И. Соколовском»², «Воспоминание Вологжанина о преосвященном архиепископе Ирпнее». Характерно, что даже в заглавиях всех этих статей директор Олонецкой гимназии предпочитает именоваться «Вологжанином» (непременно с большой буквы!). В этих статьях он раскрывает интереснейшую картину жизни родного города в XVII—XVIII столетиях, отыскивая (в преданиях и документах) очень живые, но забытые стороны этой жизни, вспоминая попутно умерших своих друзей...

4. СНОВА «ВЕДОМОСТИ...»

Впрочем, если уж речь зашла об историческом краеведении, то оно, в сущности, начало развиваться в широком масштабе именно с основанием первой вологодской газеты.

Д. Н. Болговской — вологодскому архиепископу, Стефану, 30 апреля 1838: «Предполагая, что в ризницах, библиотеках и архивах соборов и монастырей вверенной Вашему архиастырскому управлению епархии можно найти довольно много древних бумаг, которых обнаружение в издаваемых здесь «Губернских ведомостях» во

¹ См.: Русский архив, 1864, № 2, с. 70—72; 1865, № 12, с. 919—952; 1867, № 12, с. 1646—1707.

² Отрывок этих обширных воспоминаний опубликован: Русский архив, 1865, № 12, с. 1367—1370.

многих отношениях может быть любопытно для нашего края, я покорнейше прошу Ваше преосвященство приказать открыть вход во все означенные места титулярному советнику Соколовскому, занимающемуся изданием «Губернских ведомостей», удостоив его снабдить для того открытым предписанием...»

«Открытое предписание» архиепископа было получено, и 10 мая Болговской послал редактору приказ «заняться разбором старых бумаг в означенных местах и извлечением из старинных рукописей того, что относительно сущности дела или замечательной формы выражения окажется достойным общественного внимания».

Этот приказ имел большие последствия: с 1838 года в неофициальной части «Ведомостей» стали регулярно печататься интереснейшие архивные документы: уже весной были опубликованы грамоты 1690 и 1713 года, потом — описания древностей Спасо-Прилуцкого и Кирилловского монастырей, множество документов русской письменности, преимущественно XVI—XVII вв., — почти в каждом номере! Продолжалась «Вологодская хроника», потом печаталась «Хроника Великого Устюга» и т. п. Немногие из губернских и даже столичных газет могли похвастаться таким обилием научных публикаций и такой любовью к истории родного края.

Но занимался этим уже не Соколовский. Последней данью поэта «Вологодским губернским ведомостям» было стихотворение, написанное перед отъездом из Вологды и опубликованное в первом номере на следующий, 1839 год:

Стихи на новый, 1839 год

С Новым годом, с новым счастьем, —
Говорит и стар, и млад;
А однако же несчастьем
Год иной для нас богат.

Несмотря на все желанья,
На привет со всех сторон,
Путь земного испытанья
Часто горем отравлен.

Отчего ж, друзья-собраты,
Нас гнетет суровый рок,
И бедами мы богаты
На волнах земных тревог?

Знать, мы мало уповаем
На премудрого творца
И надеждой не питаем
Оскудевшие сердца.

Пусть теперь она вселится
И пролетит нам счастья сот,
И спокойно да промчится
Оживленный ею год!

И еще осталась газета с ее бойкой «неофициальной частью», где рядом с серьезными географическими, статистическими и историческими сведениями можно было прочитать полезные советы «О радикальном излечении застарелой паховой грыжи без операции», любезно переданные потомству каким-то помещиком, а рядом с научными статьями «О зырянском словаре» или «О древностях Сольвычегодска» — исследования «О пользе воробьев», «Табак — спасение от змей», «О пользе, каковую можно извлекать из посконных стеблей»...

Газета, как то и положено газете, выходила своим чередом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неоконченное стихотворение Пушкина. Черновой набросок.

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

<На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.>

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.

Отточенная пушкинская мысль; сознание своего *места* в жизни (географического «родного пепелища») и осознание себя во *времени* (уважение к своим предкам и к «отеческим гробам» вообще) — вот своеобразный «хронотоп» человеческого поведения, то, что отделяет образованность от дикости, чувство от бесчувствия. «Родное пепелище» и «отеческие гроба» — что может быть ближе этого?

Нет тоски по прошлому: есть уважение и любовь к прошедшему во имя будущего.

Прошедшее часто оставляет «белые пятна». Обидно — но «дни минувшие и речи» трудно восстановить, а «отзвеневшие шаги» — не зазвучат снова. Обидно, что многие имена так и остаются «замолкшими». Что мы знаем о таких вологодских литераторах, как А. М. Брянчанинов, А. В. Олешев, Н. Е. Вуич? За именами почти ничего не стоит. Произведения затеряны в массе старых журналов и газет, либо лежат где-то в рукописях, либо, скорее всего, утрачены... А люди писали, жили, приносили пользу и думали, что заслужили хотя бы право на память.

И дело вовсе не в том, чтобы отыскать какого-нибудь «вологодского» классика. Классика — понятие общенациональное, а не «местное». Но где грань между «вели-

кими» людьми и «малыми»? И чьи «минувшие речи» вспомнятся нашими потомками двести лет спустя?

Эта книга — о памяти.

П. В. Киреевский — поэту Н. М. Языкову, 1844: «Я с каждым часом чувствую живее, что отличительное, существенное свойство варварства — беспамятность, что нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства своего достоинства, что чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти».

Об этом же — гениальная формула В. Г. Белинского: «Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее». За ней — путь долгих философских исканий человечества. Но где они, семена будущего, то, что определит духовный облик людей через двести лет?

То, что волновало предков наших, кажется нам иногда важным, иногда чуточку смешным. И за это мы любим их...

А какими будут казаться нашим потомкам наши волнения и заботы? Впрочем, это уже из области предвидения и фантастики, а книга наша — о «давностях»...

Просто нельзя рассматривать настоящее как «конец благополучному бегу». Всем это понятно, но...

Не будет конца.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВМЕСТЕ С БАТЮШКОВЫМ	
Константин Батюшков. Хантоновская хроника	9
1. Перед первым приездом	10
2. Судьба хантоновской усадьбы	13
3. 1809 год. Диалоги с Гнедичем	14
4. История знаменитой сатиры	20
5. Москва	27
6. 1810 год. «Искусство убивать время»	30
7. 1810 год. Антитеза предыдущему	32
8. 1811 год. Диалоги с Вяземским	36
9. «Чаша горести»	43
10. Пушкин и Батюшков. Первая встреча	49
11. 1815 год. «Странствователь»	55
12. 1817 год. «Опыты»	61
13. 1817 год. «Чужое: мое сокровище!»	66
Вокруг Батюшкова, вокруг Вологды	70
1. «Язвительный поэт» в Вологде	71
2. Вице-губернатор, который писал стихи	78
3. Евгений, посетивший Державина	85
4. «Уединенный певец»	91
5. Вологодский родственник Батюшкова	98
Константин Батюшков. Последние годы	104
1. Начало	105
2. О том, что предшествовало высочайшему повелению	110
3. Зонненштейн	117
4. Рисунки поэта	120
5. Дневник доктора Дитриха	124
6. «В этом доме жил и скончался...»	130
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РЯДОМ С ПУШКИНЫМ	
О, читатель! <i>(из истории первого собрания сочинений А. С. Пушкина)</i>	143
Проект генерала Болговского	151
«Вологодская история» Никодима Надоумко	166
1. Предыстория «Вологодской истории»	167
2. «Вот я и в Вологде...»	172
3. «Конец благополучному бегу»	177
«Я весь в мечтаньях утонул...» <i>(документальная трагедия в четырех актах с прологом и эпилогом)</i>	180
Первая Вологодская газета	
1. Почин	207
2. «Первый номер»	211
3. Один из Fortunатовых	215
4. Снова «Ведомости...»	218
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	221

Кошелев Вячеслав Анатольевич
ВОЛОГОДСКИЕ ДАВНОСТИ

Литературно-краеведческие очерки

Рецензент *В. А. Оботуров*
Редактор *А. А. Иванов*
Художник *С. М. Иевлев*
Художественный редактор *А. С. Мазурин*
Технический редактор *Н. Б. Буйновская*
Корректор *В. А. Фокина*

ИБ № 568

Сдано в набор 25.05.84 г. Подписано в печать 19.07.85 г. ГЕ05537.
Форм. бум. 84×108/32 (бум. тип. № 2). Гарнитура «Литературная».
Печ. высокая. Усл. п. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 12,285. Уч.-изд. л. 12,104.
Тираж 5000. Заказ 9068. Цена 55 коп.

Северо-Западное книжное издательство, Вологодское отделение,
160000, Вологда, Урицкого, 2.

Областная типография, 160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

55 коп.



2188